

Рощин Михаил Михайлович

РОКОВАЯ ОШИБКА

Повесть

— Ну чего ты, Надек, пошли! — Бухара попрыгивала на месте, ей не терпелось начать, она поглядывала в сторону станции, откуда метро выбрасывало народ.

Бухара попрыгивала, Ленок затягивала «молнию» на куртке, Жирафа сделала постное, печальное лицо. Они втроем стояли, а Надька сидела на бульварной скамейке, осыпанной сентябрьским листом, один кленовый лист крутила за длинный черенок. Что-то ей скучно было вступать в игру. Вы давайте, давайте, говорил ее вид, я-то успею, свое возьму.

— Пошли, Жир! — сказала маленькая черная Бухара длинной белесой Жирафе. — Жир!..

И они пошли.

— Ты чего? — спросила Ленок Надьку.

— Да не, ничего, я сейчас... Вон бери, твой! — и Надька показала на мужчину в шляпе, который, выйдя из метро, остановился закурить: поставил портфель между ног, а на портфель торт в белой коробке. Сразу видно: в хорошем настроении, значит, добрый. Ленок тут же послушалась и мягко двинулась к мужчине, чтобы вынырнуть возле него сбоку. Ленок узкая, как кошка: голова обтянута шапочкой, спина — курткой, зад — джинсами, ножки — сапогами. Нет, не кошка — змейка, змея...

Надька наблюдала издали. Видела, как Жирафа подошла к телефонным будкам, а Бухара к киоскам — там слепились «Союзпечать», «Табак», «Мороженое» и гуще толпился народ. Ленок приблизилась к мужчине. С жалобным лицом, смущаясь, но и чуть висясь, не скрывая своих достоинств, лепетала: «Извините, пожалуйста, у вас не найдется пяточка на метро, домой не на что доехать...» Мужчина уже наклонился было за тортом и портфелем и хотел бежать дальше в том же темпе, в котором выбежал из метро, но — Ленок была в десятку — пыхнул дымком сигаретки, взгляделся: та стояла бедной скромницей. Надька услышала веселое:

— Дайте пяточок на метро, а то на портвейн не хватает, а? — Мужчина был еще не старый и говорил громко. Он полез в карман, порылся и протянул ладонь с мелочью: — На, держи!.. — Ленок опять вилась, стоя на месте: мол, зачем мне столько? Потом подставила руку. — Держи, держи, сами такие были! — Мужчина подмигнул и побежал беспечно, помахивая тортом. Ленок опустила мелочь в карман, повернула голову к Надьке, подмигнула. «Отлично! — отвечала та взглядом. — Не слабо!»

А возле автоматов Жирафа уныло клянчила двушки у тех, кто помоложе, — вон к такому же длинному, как сама, парню подошла, и тот нехотя протянул ей монетку. У киосков за мелькающими людьми Бухара, тоже понуро, стояла перед молодым мужчиной, который, видно, на минуту выбежал из дома в одной клетчатой рубаше и без шапки, — он держал в руках, одну на одной, сразу несколько пачек пломбира. Наклонясь к Бухаре, нетерпеливо слушал, потом подставил ей нагрудный карман рубашки, чтобы она сама вытянула оттуда деньги. И она, кажется, взяла сразу бумажкой — должно быть, рубль. Мужчина еще протянул ей брикеты с мороженым, и Бухара взяла один, а он щелкнул остальными ловко, как в цирке, скрепив их опять давлением.

С этим брикетом Бухара примчалась к Надьке:

— На! — Ее уже охватил азарт добычи. — Видала? — И она в самом деле показала рубль. — Ты-то что?..

— Я не хочу, — сказала Надька про мороженое.

— Ну а куда его? Ешь! — И Бухара умчалась.

Надька откусила и положила пачку на скамейку. Полезла в карман брюк, достала деньги: рубли, трешки, мелочь — рублей пятнадцать набиралось, — сунула назад. Не так уж деньги им были нужны — они развлекались.

Посмотрела опять: где кто? Ленок стояла перед интеллигентного вида женщиной, та рылась в кошельке, искала, видимо, пятак. А от киосков вдруг взметнулся женский высокий голос: тетка с сумкой и с пакетом чистого белья из прачечной кричала вслед отступавшей Бухаре:

— Как не стыдно! Только что просила вот тут у гражданина! Ни стыда, ни совести! — Женщина пыталась привлечь внимание общественности, но общественность реагировала так себе, а Бухара уходила, ввинчивалась в метро, где не вход, а выход. За ней Жирафа с округлившимися сразу глазами.

— Какие наглые! — шумела женщина. — Вы подумайте! Все им можно.

Надька бросила без жалости почти целую пачку мороженого в урну и пошла тоже. Нарочно сблизилась с теткой, которую уже все покинули, пробасила:

— Ладно орать-то! Чума! — И нырнула в метро.

Они сидели на лавке на перроне и обсуждали происшествие. Бухара изображала тетку, растопырясь и держа в руках невидимую поклажу.

— А ты кончай, Надек, — вдруг ни с того ни с сего сказала Жирафа. — Мы это... а ты сидишь.

— Да! — Кажется, уж кто бы говорил, — тут же прищурила и без того узкие глаза Бухара.

— Да! — сказала и Ленок. — Так не полезно. — И кинула в рот таблетку: она все время глотает разные витамины, знает, что полезно, что не полезно, у нее мать в аптеке работает.

Надька поглядела жестко в сонные глаза Жирафы, и та тут же стушевалась, нагнула голову в нелепой вязаной шапке. Ленок и Бухара тоже отвели глаза.

— Ладно! — Надька говорила властно и кратко. — Вон компоту хотите?

Они так сидели, что перед ними мелькали только ноги и сумки прохожих. Народу было уже не так много. Надька кивнула вслед женщине, которая несла в авоське три банки венгерского «Глобуса».

— Компоту! — ухмыльнулась Бухара, намекая на невыполнимость задачи.

— Компот — это полезно! — одобрила Ленок.

— Ну, на́ спор? — сказала Надька, уже неотрывно глядя в спину женщины с компотом, и повторила любимое свое словечко: — Чума...

И вот они вошли в вагон. Женщина — высокая, белокурая, усталая, обе руки заняты — с облегчением увидела, что есть место, села, одну сумку, матерчатую красную, поставила у ног, другую, сетку с банками, — на сиденье рядом с собой. И попала взглядом на Надьку, та опустилась рядом.

Надька еле слышно всхлипывала, утирала слезы. Вроде тайком, не напоказ.

— Девочка!

Надька отворачивалась с таким видом, что, мол, кому до меня дело.

— Девочка! Ты что, что-нибудь случилось?..

Люди со стороны поглядывали с любопытством, но поскольку женщина с компотом уже занялась девочкой, тут же поостыли.

В соседнем вагоне, таясь за торцовым стеклом, маячила кудрявая, теперь без шапки, голова Жирафы.

— Ну скажи, ты откуда?..

— Ниоткуда! — со всхлипом отвечала Надька.

— Ну? — Женщина протягивала к ней свою добрую руку. — Ну? Кто тебя?..

— Да ну ее!

— Ну кто, кто?

— Да мать! Я у нее приемная, так она хуже мачехи... домой не пускает, я уже второй день... — Надька била сразу из крупной артиллерии. И поглядывала на компот, невольно отвлекая взгляд женщины на сумку. — Совсем уж! И никакой управы на нее нет. Чума!..

— Ой, боже мой! Как же так? А родная мать?

— Да бросила. Сама на Дальнем Востоке.

— Как бросила?

— Да так! Как бросают?

— Ой, боже, боже! А ты учишься, работаешь?

— Учусь. В хлебопекарном. Да она и в училище придет, будто помой на меня выльет: такая я, сякая, а сама...

— Господи, что делается на свете! — уже всю жалела Надьку женщина, а Надька только махнула рукой: мол, что уж тут говорить. А сама не сводила с компота взгляда.

— Может, тебе денег немножко?..

— Ну что вы, спасибо, я не возьму, — и не было сомнений, что эта бедняга девочка не может взять у незнакомого человека деньги. — А это что у вас? Я таких банок сроду не видела.

— Да ты что! Это компот венгерский. Как не видела?

— Да не видела! Где я увижу?

— Боже мой!.. Дать тебе?

— Зачем? Я не возьму.

— Да ну что ты! Возьми! — Женщина уже запускала в сумку руку и доставала банку. — Возьми, ерунда — компот. — Она рада была хоть чем-то помочь бедной девочке и тем, кстати, выйти из положения.

— Вам тяжело, я вам помогу нести, — сказала Надька светлым ангельским голосом, уже как бы в компенсацию за явившийся наружу компот. Она без зазрения совести глядела в доброе, усталое и блестящее, словно от крема, лицо женщины и боялась даже покуситься в сторону, где за стеклами соседнего вагона уже готовился, конечно, взрыв восторга.

И вот холодная банка в руках у Надьки, женщина еще что-то говорит, сердобольно на нее глядя, но поезд тормозит, пора. На перрон вылетают девчонки с воплями, и Надька выскакивает к ним.

— Компот! Компот! Надек-молоток!

Надька победно подняла банку компота — словно кубок.

Перебежав перрон, они влетают во встречный поезд.

Вагон полупуст, сидят поблизости две железнодорожницы с набитыми сумками, тетка с тазом в мешке, молодая женщина в очках с книгой, другая женщина с мальчиком лет восьми. Влетев, Жирафа цепляется двумя руками за поручень, виснет на нем, а задача других — оторвать ее, повалить.

— Гроздь!

— Гроздь! Гроздь!

И все кидаются, тоже виснут, орут.

— Гроздь!

Оторвали Жирафу, повалились на сиденье с воплями. Полный восторг.

Надька и Леночка поднимались по лестнице на последний, пятый этаж старой пятиэтажки без лифта. Дурачились, висли на перилах, приваливались к стене.

— Сейчас поесть чего-нибудь? Я ужас как! А ты, Лен?

— Не полезно на ночь.

Да, Леночка красавица. У нее манера. Надьке против нее куда! С кургузой своей фигурой, широкой мордой, прямыми дурацкими волосами. Когда они остаются одни, то Леночка вроде сразу берет верх, а Надька теряет всю свою власть.

Надька открывала своим ключом дверь, дверь не поддавалась.

— Заперлась, дура! — Надька нажала звонок, и звон хорошо был слышен внутри квартиры. Дверь не открывалась. Надька нажимала еще и еще. — Ну!.. — Она опять выругалась, повернулась и стала стучать в дверь каблуком.

И вдруг из-за двери:

— Не стучи! Не открою!

— Открой, ты чего?

— Не открою! Иди, откуда пришла!..

— Открой! Видала, Лен?.. Вот чума!.. Открой, я здесь с Леной! Мамка Клавдя!
— Хоть с чертом! Тебе когда сказано приходиться?
— Открой! Сейчас дверь расшибу!
— А я вот милицию, она тебе расшибет!

Ленок сразу заскучала:

— Я пойду, Надь.

— Стой! Я сейчас!.. — И Надька стала еще пуще — от стыда перед Ленком — колотить и орать: — Открой! Открой!..

У соседей напротив уже глядели через цепочку. Ленка кинулась вниз по лестнице, Бедная мамка Клавдя уже не рада была — гремела замком, отпирала, а Надька билась о дверь, стучала кулаками в ярости, но без слез.

...Выходит, в дом-то ее, и правда, не впускают.

Из холодильника Надька достает банку лосося, за нею банку сгущенки. Обе банки ловко вспарывает на дешевой клеенке кухонного стола. Тут же полбатона белого, тут же выдавший виды маг, который испускает свои «лав», «лайк», «гив», «май». Это очень интересный маг: передняя крышка с него снята, задняя тоже, и видно все сложное, на схемах и в цветных проводах, нутро аппарата.

Надька сидит одна за столом, ест. А за спиной ее — всхлипывания, сморкание, кашель и бесконечный монолог, каждый день Надька его слышит.

— Ну змея выросла, свет не видывал! Во, возьмет банку лосося и уговорит одна всю! Ей что! Мать болеет, мать того гляди помрет как собака, воды некому подать будет, — да черт с тобой, кому ты нужна, она только рада будет, — наконец место освободила, слава богу! И жилплощадь теперь вся наша, води сюда всю банду свою, гуляй!

Кашель только и останавливает мамку Клавдю, она чуть не плачет от жалости к себе, на самом деле представляя, как это она помрет, а Надька тут же наведет своих подружек и будет здесь безобразничать, прогуливать нажитое.

Надька, разумеется, и ухом не ведет, нарочно громче делает музыку, хотя, конечно, все слышит и про себя еще мамке Клавде и отвечает кое-что не больно вежливое: губы шевелятся.

— Бесстыжая, больше никто! — продолжает мамка. — Уговорит хоть три банки зараз, сгущенки налопается, и плевать ей, откуда ты, мать, взяла, где у тебя денежки удовольствия ей справлять. Одни удовольствия, одни удовольствия им подавай: поест вкусно, да танцы, да ки на — вот вам и вся жизнь! Откуда паразиты такие только повзросли!

Опять кашель, опять вызов: мол, ну, ответь, я тебе еще тогда не такое скажу, но Надька молчит, и мамка Клавдя переходит к самому главному, больному месту:

— А какая девочка была, два годика, куколка, звездочка! У нас с хлебозавода Нюрку тогда выдвинули, она со мной сама лично ходила в детдом, хлопотала, я год ждала, чтоб подобрали девочку получше, чтоб у ней хены не срабатывали далеких предков, — нате вам, дорогой товарищ Шевченко, вот оно, выросло! Откудова только набрали таких хенов в один организм — вот что страшно-то! А выдали-то!

Толстененькая, в белом платице, волосики вьются прям локонами, глазки, как у куколки, открываются, так и сияют — ангел! Вон он, ангел!..

Тут не выдерживает мамка Клавдя и ревет.

Выходит, Надежда и насчет детдома не врала женщине с компотом... Историю про себя маленькую она слушает с интересом, все мы любим, когда нам о нас же рассказывают.

А мамка Клавдя продолжает:

— А ручки-то крохотулечки, пальчики тепленькие, всегда горячие, как возьмешь в свою рабочую лапищу-то нежность этакую, заплачешь, ей-богу, заплачешь. Сидит, бывало, в ванночке, ручонками шлеп-шлеп, резиновым крокодилом шлеп-шлеп! Мама!.. Что, моя жданочка, что, моя звездочка?.. Ну, слезы, слезы, не нарадуешься, откуда же счастье-то привалило тебе, дуре одинокой, — так и плачешь над нею, крошечкой, а сама-то сирота выросла, фашист все пожег, всех загубил, с пятнадцати лет в городе на работе, сначала камни растаскивали, цельные улицы разбитые, а

потом, спасибо, на хлебозавод определили... И откуда, — тут опять высоко поднимается мамкин голос, — такое-то, зачем только растут? Так бы и засахарить их крошками-то! А то ведь кто выросло? Кто? Черт ядовитый, больше никто! Вот и вся куколка!..

(Ну и переходы у вас, мамка Клавдя, ну и переходы!)

— Мать вгонит в гроб — и порядок в танковых частях, это ее мечта-то и есть! Ну? Все? Отзавтракали, ваша величество? Хоть банку бы за собой выкинула, привыкла: подай, принеси, всю жизнь выносить за тобой матери!..

И — не выдержала Надька, заорала:

— Замолчи! Какая же ты мне мать? Чума!

Маг в играющем виде сунула в кустарную холщовую сумку, кота Сидора отбросила ногой, об которую он терся, по столу стукнула так, что банки подпрыгнули и повалились. А мамка Клавдя этого и ждала!

— Ах, не мать! Катись! К своей катись! Она вон завтра явится, пусть берет тебя к черту! «Прилетаю завтра рейсом...» Прилетает она, ведьма летучая! На́ вот, встречай иди! И глаза б мои вас больше не видали! — кинула Надьке телеграмму и зарыдала, пошла багровыми пятнами.

Бедная мамка Клавдя! Плюхнулась на табуретку в своей пятиметровой кухне, подперла голову, некрасивая и нескладная, как кривое дерево, — передовица своего хлебного производства, уважаемая работница, а тут, дома, никто, «дура старая», каждый день одни обиды — конечно, за душу возьмет. Да еще э т а приезжает — нет, к сожалению, в нашем языке такого слова, которое бы определило это понятие — мать, которая родила, но не воспитывала своего ребенка. Как назвать такую: родительница, рожальница, детородница, производительница?

Мамка на кухне кашляет и плачет, Надька в ванной закрылась, кот Сидор банкой из-под лосося по полу гремит.

А вот, пожалуйста, кинохроника — расширим границы нашего повествования прямо до Дальнего Востока! — кинохроника: синее море, белый пароход, синее море, Дальний Восток.

Плавучий рыбный завод. Лебедки заносят над трюмами тугие от рыбы пузыри сетей. Как серебристая мелочь, сыплется рыба и мчится по мокрым транспортерам в разделочные цеха.

Крутятся механизмы, дымят котлы, щелкают и гудят автоматы. А вот и банки из-под лосося. Вернее, для лосося. Они тарахтят, заполняя длинные столы. А вот и руки, которые укладывают в банки разделанную рыбу. Это женские руки. Две руки, четыре, шесть, сто, двести. Гигантский цех, сотни женских голов. Голос директора сопровождает эти кадры бодрими словами о перевыполнении плана, комментатор берет интервью у бойкой белозубой рыбоукладчицы. И опять рыба, сети, автоклавы, банки с нарядными наклейками...

И на этом фоне начинается еще один монолог, тоже женский. Но женщина теперь иная: крепкая, широколицая, хорошо одетая (жабо белой японской блузки), причесанная в «салоне». Разговор идет с соседкой по самолетному креслу: лететь далеко, можно обо всем на свете переговорить.

Стюардессы разносят обеды, женщины едят, подставляют пузатые стаканчики, обе оживлены, свободны, веселы: полет, еда, разговор, мужские взгляды — жизнь!

Смеются:

— Чего бы покрепче! — Будем здоровы! — Смотри, икру дают! — Глаза б мои на эту икру не глядели!

— Ну вот, — продолжает свой, видимо, издавека начатый разговор мамка Шура, так ее зовут в отличие от мамки Клавдии, — живу, как сыр в масле, грех жаловаться, а ведь все сама, всю жизнь вот этими руками — видала такие руки?

Она показывает руки, и они поражают своей шириной, толщиной. Такие руки бывают только у работниц рыбозаводов, разделочниц и укладчиц, кто имеет дело с рыбой, крабами, креветкой: рыба и соль разъедают натруженные руки, они пахнут,

раздуваются — это профессиональное заболевание. Вернее, даже не заболевание, а результат, признак именно этого труда. Как мозоли у плотника.

— Я его любила без памяти, — рассказывает Шура, — я за ним на край света пошла в буквальном смысле: взяла да прилетела к нему на Камчатку. А мне еще восемнадцати не было. Мы десять лет безразлично на одном судне плавали, я все навсегда позабыла. У меня мама померла в Воронеже, я только через три месяца об этом узнала. Он краба ловил и креветку, корюшку, лосося, он у меня рос год от года, его весь Дальморерыбпродукт знает, мы с ним два года в Сингапур ходили, — видишь, у меня шмотки — импорт, фирма, мы на двоих такую деньгу заколачивали, мама родная, не приснится! Тем более он молодым сроду не пил, только трубку курил да книжки читал. Как я его любила — это роман, ей-богу, если описать, одно счастье и счастье было у меня в жизни, больше ничего. Не расставались нигде!.. Ну и куда мне было с дитем, подумай? Сама еще девчонка, все в самом разгаре, один он у меня в голове — и вдруг на тебе! Как я пропустила, не поняла по неопытности, а потом хватить — поздно! Вот это была моя самая роковая ошибка в жизни! Ей-богу, я всегда так и говорю: «Надька — ты моя роковая ошибка!» Да уж, видать, так устроено — за все расплачиваться. А ребенок значил конец всему: в плавание с ним уже не уйдешь, разлучайся, значит, на семь-восемь месяцев, он в море, ты на берегу — это все. Там таких, как я, на плавбазе еще четыреста пятьдесят, а он как выйдет с трубкой, глаз прищурит и по-английски: ду ю уот ис лэди дуинг ивнин тудей? И — отпад, любая тебе лапки кверху... Как мне было его оставить?.. Да где оставить? В слабость кидало, если я полдня его не вижу, не дотронусь хоть вот так. Я ни одного дня и ни одной ночи без него не жила. Нет, не опишешь!.. Короче, он даже не узнал ничего. Я вроде мать навещать уехала, она еще жива тогда была, все болела, а он в Ленинграде был на курсах повышения, и я с ним. Я так подгадала, что на три месяца нам расстаться, — господи, выживу ли?.. Ну, подгадала, чего только не делала врачиха, Ирина Петровна, век ее не забуду, такое золото попалась, я полтора суток в родилке, чуть не померла, она меня не бросила. Я ей-то все и рассказала потом. Роковая, говорю, ошибка — этот ребенок, загубит он всю мою жизнь. Я даже видеть ее не хотела, представляешь, какая злая была. Кормить отказалась. Меня спрашивают, какое имя дать девочке, я молчу. Какое, говорю, хотите, такое и давайте. Ну что ты хочешь, мне двадцать лет, ни кола ни двора, а в голове только он! Он меня в Ленинграде ждет, а я что ж, с дитем на руках к нему явлюсь? Он и так все спрашивал, что со мной, а я — ничего да ничего. Чтоб он фуражечку вот так, честь отдал и гуд бай, леди? Короче, пиши, говорит Ирина Петровна, заявление и забудь навсегда, что была у тебя дочь, глаза мои б на тебя не глядели! Четвертый, говорит, случай у нас, будьте вы прокляты, такие матери!

Стюардессы собирали обеденные подносики, мамка Шура обтерла свое крепкое лицо и твердый рот мокрой бумажной надушенной салфеткой, подкрасила снова губы, закурила «Мальборо» и продолжала, не могла остановиться, историю свою и своей дочери:

— Знаешь, вот сейчас говорю, и будто про кого-то другого говорю, будто то и не я была и случай этот не со мной. Как сон или под гипнозом я каким находилась, ну ей-богу! Человек, говорят, весь целиком за семь лет меняется. Так я, выходит, с тех пор два раза переменилась. А было, знаешь, время, что я вроде и забыла про это. Нету. Не было. А чем дальше, тем больше мучить стало. И Николаю рассказала, не смогла, лет, может, через пять или шесть как-то, под горячую руку. Он потом спрашивает — умный он у меня, понял: неужели, говорит, ты меня так любила, что ради меня ребенка нашего бросила? Ну и сам сказал: надо, говорит, ее найти. А где, как? Я стыдилась, да и не хотели нам говорить. Ирина Петровна сама в Сирии три года работала, я ее ждала, к ней потом поехала, во Львов. Ну, найти, говорит, можно, но зачем? У девочки другая семья, мать другая, вся жизнь другая. Мы с Николаем говорим: ну мы хоть издалечка поглядим. Нет, говорят, не мучайтесь и других не мучайте. Я говорю: Коля, если ты так ребенка хочешь, я тебе рожу. И тут он отвечает: нет, еще поплаваем, я без тебя тоже не могу. Вот такая судьба...

Соседка уже почти дремала, глаза ее хлопали, закрывались и открывались, что доказывает, кстати, нашу уже некоторую привычку к подобным историям, невосприимчивость.

— Ну и что же, — спросила соседка, торопя развязку, — так ты ее и не видела, дочку?

— Я-то? Я да не увижу! — Шура твердым жестом гасила сигарету в подлокотнике, глядела на кипень белых облаков за окном. — Каждый год вижу. Мы договорились: у той матери не забирать, ладно, хоть и проку там мало, одинокая всю жизнь, на хлебозаводе работает, одна тупость, но теперь... — Шура прищурилась. — Помогать мы все время помогали, и сейчас полный чемодан ей везу... Нет, теперь все не так... Что именно «не так», Шура не договорила.

— Ох, господи, чего на свете не бывает! — сказала соседка и зевнула. Она, должно быть, ожидала некий более страшный конец истории. — Может, поспим часок? В сон клонит, прям не могу.

— Да спи, спи, конечно, — сказала Шура. — Спи.

— А она-то к тебе как? — еще поинтересовалась соседка.

— Кто?

— Дочка.

— Донка? Нормально.

— Ну и все. Что душу бередить, она теперь уже, считай, выросла.

— Это да.

Соседка откинулась, уже откровенно закрыла глаза. А Шура отвернулась в окошко. Там сверкающие облака стояли внизу, как белое море.

И вот закачались на белом, как в мультяшке, черные сейнеры. Закачалась черная матка-плавбаза. И подул ветер, зазвенели снасти.

И покатила опять рыбацкая хроника: женские молодые лица под капюшонами, твердые морские фуражки, лебедки с пузатыми тралами. Ручьями льется рыба. Речушками. Реками. Серебряный поток. Золотой... Потом это превращается в брикеты мороженой рыбы. Вот холодильные камеры. Трюмы рефрижераторов. Мощные автофургоны. Наклейки. Клеймы. Подписание торговых соглашений. Аплодирующие друг другу внешторговцы.

Сейнер мотает на волне, и вода перелетает через него, как через поплавок.

Игрушечный кораблик в ванночке. Дитя, сидя в воде, лупит по воде корабликом. Рыба идет стаей.

Не соврала, выходит, Надька и про Дальний Восток...

Гонит ветер корабликами сухие листья по тротуару, и они не шуршат, а гремят, как жестяные. Осень стоит сухая, солнечная, но сегодня вот ветер сорвался, бегут облака, и сразу нервно и неуютно на душе.

В районе, где живет Надька, дома не выше пяти этажей, мостовая еще булыжная, по узкой улице летит трамвай, сотрясая маленькие дома с геранями на подоконниках. Целый пролет меж двумя остановками занимает красная кирпичная стена старинного завода, где делают теперь холодильники, и длинные высокие окна забраны железными решетками. В окнах горит дневной свет, и больше ничего не видно. Надька не села на трамвай, идет пешком вдоль заводской стены. На той стороне — домишки, деревья, заборы, вон детская площадка, давно ли Надька сама качалась там до одури на железных качелях, а теперь мотается с утра пораньше девчонка в голубой пуховой шапке, и качели визжат так же, как десять лет назад.

А там, за облетевшими кривыми липами, старинное здание школы. Надька ее не любит, школу, ничего хорошего не вспомнишь. Училась она плохо, была упряма, учителям грубила. В пятом классе хотели оставить на второй год, да мамка Клавдя пошла плакать, упрашивать, Надьку оставили, но с тех пор она не могла больше их в с е х терпеть — за то, что одолжение сделали.

В школе учился один знаменитый летчик, построена она была еще до войны, но все это не интересовало Надьку, и она не понимала, что это значит, «до войны».

За каменным сараем двое десятиклассников передавали сигаретку один другому по очереди.

— Эй, Белоглазова! Здорово!

— Привет!

— Как живешь? В ПТУ топаешь?

— В МГУ! Захотали.

— А у нас Марь Владимировна на пенсию ушла, слыхала? Помнишь, как она тебя? — Хохочут. — Возвращайся теперь, Белоглазова. У нас мемориальную доску открыли. Имени летчика Солнцева.

— Нужна мне ваша школа! — говорит Надька и отворачивается, а ее бывшие однокашники, затоптав наконец свою сигаретку, мчатся к школе, размахивая портфелями.

Она тоже явно опаздывала в свое училище, но никаких угрызений совести по этому поводу не испытывала — ну опоздает, ну и что? Пусть спасибо скажут, что вообще пришла. Потому что это училище, эта учеба — тоже — зачем?..

Вот стоять просто, и глядеть, и слушать, как несет ветер листья, как они скользят по асфальту, остановятся вдруг, а потом опять — загремели, понеслись, не хуже трамвая...

В железных чанах железные кривые руки-шарниры месят тесто. Гудит черно-белый тестомесильный цех. Стайка девочек в белых шапочках, в халатах, узко стянутых в талии, с тетрадками в руках, записывают на ходу лекцию, которую читает им прямо на месте преподавательница училища, — училище находится здесь же, при заводе. Долетают слова: «Вымес продукции производится автоматами типа... выпечка хлеба в нашей стране достигла сорока миллионов тонн в год...» Преподавательнице Ирине Ивановне лет тридцать пять, у нее прямая стрижка, очки, вид самый обыкновенный. А Надька ее не любит. За что, сама не знает. Надька тоже в белом халатике, в колпачке, с тетрадкой — и Леночка с ней, и Бухара, — смотрит на Ирину Ивановну, суживает глаза: мол, говори, говори, я все равно не слышу.

Девчонки шушукаются, смеются.

— Девочки! — говорит преподавательница. — Ну что вы все смеетесь? Ну что вам все смешно? — И глаза ее вдруг наполняются слезами.

— Чего это она? — шепчет кто-то.

— Депрессуха, — острит Бухара.

Ирина Ивановна оборачивается прямо на Надьку. Взгляды их встречаются. Казалось бы, в глазах девочки должны быть неловкость, сочувствие. Нет, у Надьки вызывающий, скучный, безжалостный взгляд.

Группа движется дальше. Механические руки месят и месят тесто.

Бухара дергает Надьку за халат: отстанем. Она запускает палец в тесто, пробует и корчит рожу. Они в самом деле отстают, шмыгают на лестницу, спускаются на один марш и останавливаются у автомата с газированной водой. Как не попить бесплатной газировочки, хоть и несладкой? Бухара пьет жадно, Надька нехотя.

И вдруг — мамка Клавдия. Она тоже в белом халате, краснолицая, потная.

— Вот они где! Здрасьте! — Мамка Клавдия отходчивая, а за работой вовсе забылась, и теперь тон у нее такой, что вроде ничего и не было накануне. — Надь! Ты не забыла? — Она тоже ополаскивает стакан, пьет. — Ты не уходи, я с ей одна сидеть не буду... Слышь?

И тут сверху, с лестницы, слетает белыми халатами опять вся группа.

— Газировочки! Пить! Давай!

— Надь! Надь! — перекикивает всех мамка Клавдия. Надьке неприятно, что эта некрасивая, нескладная работница имеет к ней отношение. Хотя большинство девчат, конечно, мамку Клавдию знают. Но Надька демонстративно не слышит. И только хуже делает: высокая и толстая отличница Сокольникова Люся толкает Надьку в плечо:

— Тебе говорят, не слышишь?

— Что? А тебе что? Ты кто такая?

— Никто. Чего ты?

— А чего хватаешь? Больше всех надо?

— Да ты сама-то кто?

— Я?

Надька — сплошное презрение, а сбоку уже подтягивается Бухара. Ленок делает вид, что ее это не касается. Но тут сама мамка Клавдя вступает:

— Вы чего? Надя!.. Я кому говорю-то!

— Да отстань, слыхала я! — отсекает ее Надька и продолжает с Люсей: — Я — кто? Ты не знаешь?

Сокольников отворачивается, а другая девушка, пучеглазая Виноградова, заслоняет ее и говорит Надьке:

— Опять нарываешься? Чего ты все нарываешься?

— Девчата, вы что это? — шумит мамка Клавдя. — Вы чего? Вы это тут бросьте! Вы на производстве! Вы у хлеба находитесь! Хлеб этого не любит! — Она явно обращается к девушкам, которые ни в чем не виноваты, и выгораживает Надьку. — Вы тут не на улице!

Сверху спускается Ирина Ивановна.

— Здравсьте, Клавдия Михална! Что тут такое?

Прямо такое почтение, куда там!

— Да это ничего, ничего, — начинает объяснять мамка Клавдя. Надька не слушает, кривится и идет в сторону. — Надьк! — несется ей вслед. — Сразу домой, поняла? Я с ей сидеть не буду!

Надька красуется перед зеркалом в новом тонком белом свитере, в светлом комбинезоне. Рядом другой свитер, зеленый, натягивает на голое тело Ленок. Шнурует на ноге кроссовку Бухара. Вещи, вещи, вещи. Из раскрытого чемодана парящая надо всем Шура вынимает еще нечто яркое, сине-белое.

— А это вот Клавдии Михалне!.. Михална, ну-ка!

— Чего это? Чего? — бросаются от своих обнов девчонки.

— Мне? А мне-то зачем? — Мамка Клавдя туго краснеет. Но ей уже дают сине-белое в руки, ведут, заставляют примерять, надевать, и оказывается, что кофта в крупную полосу, белую с синим, как тельняшка. — Господи, куда это мне такое? — Но сама еще пуще рдеет, глядится в зеркало — видно, что ей нравится.

— Уж не знаю, угодила ли, старалась, — не закрывает рта Шура. — У нас теперь товаров очень много, японских, сингапурских, каких хочешь. Ой, Михална, ну ты у нас невеста!

Они говорят между прочим, все вместе, все разом, и все друг друга слышат. Мамка Клавдя так и ходит потом в новой кофте — ставит на стол тарелки с нарезанной колбасой, с сыром, — стол уже и без того уставлен, накрыт, торчит на нем бутылка вина.

— Надь, ну продашь мне этот зелененький-то, Надь? — страстно шепчет Ленок про пуловер, который остался на ней после примерки и облегает ее тонкую спину и талию.

— Ну отличные! — топчет кроссовками Бухара. — Ну отличные, Надь! Только они тебе малы будут!

— Чего это малы, чего это малы? — отвечает Надька и сразу же Ленку́: — Ну чего это продашь-то, Лен? Мне самой хорошо. Я тебе потом дам. Поношу — ты поносишь.

— А вот еще, Надь! — кричит Шура, извлекая из чемодана платье. — Поцелуй хоть мать-то, спасибо хоть скажи!

— Спасибо! — кричит издали Надька, а сама усмехается.

Бухара передает ей платье: надень, Надь, надень.

— Да ладно, хватит, — говорит Надька. — За стол пора садиться, есть охота.

— За стол, за стол, — повторяет мамка Клавдя. — Я блины несу!

И тут же раздается звонок в дверь, и входит еще Настя: племянница Шуры, воронежская родственница, очень на нее похожая:

— Ой, Шурёна!

— Ой, Настёна!

Объятия, возгласы, восклицания, быстрые слезы, подарки, опять призывы: за стол! А между тем Надька надела-таки платье и стоит перед зеркалом. Платье нежное, красивое, очень ей идет, и из зеркала глядит вдруг

нормальная и н т е р е с н а я девочка-девушка. Надька смущена этим непривычным для нее видом. Что это? Кто это? Удивленно глядит Бухара, чуть приподнимает подбородок Ленок. Это Надька? Гадкий утенок?.. А Надька фыркает и прямо-таки выдирается из платья. Зачем оно ей? Зачем ей быть такой?

Но вот наконец все за столом, чокаются красным кагором, смеются, и Шура начинает: — Я его как любила-то? Без памяти. Я за ним на край света отправилась. На Камчатку прилетела — сама, а мне восемнадцать лет! Да еще и не было-то восемнадцати!... — И она горячо и охотно повторяет все то, что уже слышано здесь не раз. И когда доходит до рождения Надьки, говорит: — Конечно, меня хоть под суд за такое дело! Да что ж мне было-то придумать? Она ведь была-то — ну роковая ошибка! Ей-богу, прям роковая ошибка, что я ее родила!

— Ну-ну, слышали уже! — говорит воронежская Настя — даже у нее хватает соображения остановить Шуру. Потому что девчонки сидят потупясь, и Клавдя двигает стулом и уходит на кухню.

— А чего? — удивляется Шура. — Я честно говорю. На кой она была тогда нужна? Ну?.. А теперь, — Она внезапно склоняется к Надьке и берет ее за руку, шепчет: — А теперь мы что надумали: забирать тебя через годик, а? Забирать, забирать на Дальний на Восток!

Бухара подавилась блином, Надька дернулась, Бухара с Ленком устали на нее, а Настя потянулась Надьку по голове погладить: мол, вот и хорошо, и правильно.

А Шура, даже и не продолжая ничего на этот счет, — мол, дело решенное, — встала.

— А где это моя тут гитара-то? Жива еще? Надь?.. А, вон она!.. — Увидела гитару на шкафу и сама встала, достала. — Ух! — Полетела пыль, и Шура крикнула: — Михална! Тряпкухвати, гитару обтереть!.. Эх! Отвяжись, худая жисть, привяжись хорошая!.. А какую я вам сейчас сладкую спою, милые вы мои, вы такого-то и не слыхивали!..

Михална! Все ради отца твоего, орла морского, Надя, и на гитаре я выучилась, и чему я только не выучилась!.. — И, стараясь не запылиться, перебрала струны.

Бухара слетела со стула за тряпкой и быстро принесла. Гитару вытерли, и Шура — перебор за перебором — запела: «Не уезжай ты, мой голубчик, печально жить мне без тебя...»

Мамка Клавдя вошла в новой, дурацкой, слишком для нее яркой кофте, с новыми блинами, на Шуру не глядела. И Надька глядела на мать так себе, вполглаза, усмешка была на губах, и взгляд беспощадный, без капли тепла.

— Твоя-то! Во дает! — шепнула Бухара.

— Чума! — медленно сказала Надька.

А Настя наклонилась к мамке Клавде:

— Михална! — зашептала. — Слыхала?

— Слыхала, — сказала мамка Клавдя. — Давно слышу.

— Куда она ее возьмет-то? Зачем она ей нужна?..

И Надька это слышала и еще покривила губы усмешкой.

На стадионе «Динамо» у нового, к Олимпиаде построенного сектора, из-за забора девчата смотрели, как бежит по gareвой дорожке Жирафа. И когда Жирафа приблизилась, дружно заорали:

— Жир! Кончай! Давай сюда! Жир!

Бухара старалась протиснуть сквозь забор ногу в кроссовке. Надька оттягивала на груди белый свитер, а Ленок — зеленый пуловер. И Жирафа, хоть и не остановила бега, вытаращила глаза — всем на потеху.

А потом Жирафа так же спортивно выбежала из служебного входа, возле которого сидела на табурете на воздухе вахтерша, и девчонки ее здесь встречали, и, увидев вблизи обновы, Жирафа изобразила «отпад». Полный отпад. Смотрела, щупала, трогала. На ней самой были страшные кеды, не меньше тридцать девятого размера.

— Надек-то у нас на Дальний Восток ту-ту! — объяснила с ходу Бухара.

— Ладно тебе! — Надька между тем следила за синей машиной, которая вопреки правилам пробиравась по асфальтовой дорожке прямо к огромному зданию спортзала. Даже вахтерша привстала со стула и махала рукой: сюда, мол, нельзя. Но

машина двигалась, выбирала себе место для стоянки, стала, наконец, боком, и оттуда выпорхнула молодая женщина в белых брюках, маечке, со спортивной сумкой. Завидя ее, вахтерша засияла, люди, в основном спортивная молодежь, оборачивались, а та грациозно бежала к спортзалу.

Жирафа, когда увидела, тоже повела головой за ней, раскрыла рот и сказала:

— Булгакова!

— Кто это? — спросила Надька, оттопырив губу.

— Чемпионка мира! Булгакова!

— Фига, чемпионка! — Надька хмыкнула. В новом наряде она чувствовала себя неотразимой.

Жирафа продолжала зачарованно смотреть вслед спортсменке.

— Закрой варезку-то! — со злостью сказала Надька. — Знаем мы этих чемпионок!..

Вот ты у нас тоже! — Она пихнула Жирафу, и та чуть не упала через бордюр на рыжую осеннюю траву.

— Ты чего? — обиделась Жирафа.

— Чемпионка!

Бухара и Ленок засмеялись.

И они пошли как раз мимо синей машины, и, когда поравнялись, Надька вдруг стукнула кулаком по багажнику.

Жирафа дернулась, но смолчала.

Девчонки идут развязным шагом и так и ищут, что бы такое сотворить, какую глупость.

Набились в телефонную будку, набирали 01, 02, 03, пищали в трубку. Женщина шла с собачкой, Бухара упала на четвереньки и как залает на собаку — та завизжала со страху. Потеха. Вошли в ворота парка — здесь было пустынно, всё в опавшей листве, две матери катают коляски с младенцами, да трое стариков дуются на скамейке в пашки: двое играют, третий стоит и смотрит. Ветер, желтая трава, сухие листья, запертые фанерные павильоны. А вон стоит возле дерева парочка — лейтенант с девушкой в белой медицинской шапочке и плаще внаброску, из-под которого белеет халат, — целуются. Девчата по дорожке идут, по аллейке, а они на траве стоят, на газоне, за скамейкой. Девчат прямо разрывает от смеха. Они сдерживаются, сдерживаются из последних сил, а эти и не видят и не слышат. И тут Надька басом как рывкнет:

— Не верь — обманет!

Девчонки скорчились от смеха, поползли в стороны, повалились на скамейки. А Надька, конечно, отвернулась, будто это и не она. Потом покосилась: те двое отпрянули друг от друга.

— Ну! Вы! Кобылы здоровые! — крикнула подругам с невозмутимым видом. — Мешаете же людям!

— А он сим-пом-по! — оценила Ленок.

— Беру его на себя, — сказала Надька. — Хотите?

— Она тебе харакири сделает, — Ленок имела в виду медсестру.

— Ну? — повторила Надька. Быстро скомандовала Бухаре: — Ты закричи и беги. А вы, — Ленку и Жирафе, — тоже. Только быстро. И скрыться из глаз. Ну?

— А-а-а, — вмиг завизжала Бухара и побежала. Молодые матери с колясками вздрогнули, старики подняли головы от пашек, лейтенант с медсестрой резко оглянулись. Надька, скорчась, валилась на скамейку, а Ленок с Жирафой дунули за Бухарой — та продолжала вопить на бегу.

И вот над Надькой склонились белая шапочка и военная фуражка. А она корчится на скамье, схватившись за живот.

— Ты что? Что с тобой? Эй!.. Ты слышишь?.. Говори!.. Ну, где, где?..

Близко их лица, совсем близко. Ладонь лейтенанта держит Надькину голову. А медсестра уже профессионально, сильными руками поворачивает, заставляет раскрыть рот.

— Ну, говори? Что с тобой сделали?

— Не знаю! Болит! Ой! Не могу!

— Ты придуряешься, что ли? — резко спросила медсестра. — Ну? Нет у нее ничего, — сказала она лейтенанту.

Надька скорчила гримасу:

— Да, вам бы так! Ой-ой-ой!

— Ну что? Где? — Медсестра опять склонилась, ощупывала.

— Давай ее к нам, — сказал лейтенант. — Ну ты скажи, что с тобой? Дохулиганились?.. Тоня! Давай?

— Ой, мамочка! — завывала Надька и опять повалилась.

— А ну-ка, Сережа, помоги! — решила медсестра, которую называли Тоней, и они потащили, почти силой поволокли Надьку.

И вот они в коридоре, белая дверь процедурной, еще две сестры, одна толще другой, белые, как айсберги, и Тоня отдает Надьку в их крепкие руки:

— Девочки, посмотрите ее, плохо на улице стало, не аппендицит ли? Я сейчас Федора Иваныча попрошу... Да не бойся ты, чего ты боишься, может, тебя просто прочистить надо...

— Чего? Что? — Надька стала извиваться.

Но ее уже держали крепко.

Девчонки всовывали лица в прутья ворот.

— Чего это у вас здесь? — спрашивала Бухара. — Больница?

— Госпиталь, — отвечал дежурный солдат. — Интересуетесь? У нас требуется обслуживающий персонал. — Он показал на объявление на воротах. — Санитарки, нянечки.

— Тебе, что ли, нянечку? — невзначай бросила Ленок, и подруги прыснули.

— Чего? Больным.

— А ты не больной? — спросила Бухара.

— Давайте отсюда! — Солдат обиделся.

— Нам про подругу узнать. Вот сейчас провели.

— Как провели, так и выведут. Давайте! — Тут к воротам подъехала машина, солдат пошел открывать, девчонки отступили.

— Чего делать-то? — сказала Ленок. — Ждать теперь.

Ждать не полезно, — сказала Ленок. Она вилась, покачивалась и катала во рту таблетку.

— Да ну ее! — сказала Жирафа про Надьку. — Всегда она, а мы это...

— Пошли там на скверике посидим.

— Холодно.

— Ну в кафе пойдем.

Машина проехала, солдат закрыл ворота и опять оказался вблизи. Бухара приказала ему:

— Слушай, наша подруга выйдет, скажи, мы в кафе ее ждем, знаешь, там у входа, синие буквы?

— Не знаю я ничего.

— Ну ладно, чего ты обиделся-то? Пошутить нельзя?.. Скажи, ладно, а то мы замерзли. Скажешь?

— Ладно, — солдат сдался.

— Ну вот, видишь, какой хороший! Ленок, скажи, он прелесть!

— О, да! — сказала Ленок величаво, покачивая узким станом. И солдат вздрогнул и зарделся.

Надька сидела на клеенчатой холодной кушетке в одних трусиках, закусив губу, натягивала комбинезон. Сестра Маша, огромная, как белый слон, мыла в стороне, у раковины, руки.

Энергично вошла медсестра Тоня, кому-то что-то говорила назад, в дверь, и смеялась, — Надьке тут же почудилось, что над нею, и она напряглась. Теперь это была не та Тоня, что на улице, даже лица которой Надька при других обстоятельствах и не запомнила бы. Здесь она держалась хозяйкой, щеки скуласты и румяны,

узковатые глаза поблескивают остро и властно, крепкие ноги обуты в тапочки без каблучков, и оттого походка и осанка у Тони крепкие, женские. В белоснежном накрахмаленном халате она казалась еще плотнее, чем на улице. Все это было слишком основательно, крепко, чисто, энергично и оттого враждебно Надьке.

— Ну что, дева? — спросила Тоня почти с насмешкой. — Легче стало? Одевайся, одевайся, пошли, а то еще попадет за тебя от начальства... Ну?

Она подошла близко к Наде. Та застегивалась, глядела вбок. Все равно хочешь не хочешь надо было изображать болезненную слабость. Помедлить. Поморщиться. Покачнуться.

— Ну-ну, не упади. Дойдешь сама-то? Тебя хоть как зовут? Не слышу...

— Лариса, — сказала Надька еле слышно.

— Понятно. Ну чего ты губы-то дуешь? Тебе хотели как лучше. Почему у тебя голова-то такая грязная? — без перехода спросила Тоня. — Надо было бы голову тебе заодно вымыть. И как они мыться не любят, молодежь! — обернулась она к толстой Маше, которая вытирала полотенцем руки. — Глаза покрасят, а шея как сапог. Девушка-то должна прямо скрипеть от чистоты, как чистая тарелка... — И опять без перехода: — Пошли, пошли...

Все делалось быстро, неслось одно за другим. Надька не успела ничего сообразить, а они уже вышли в коридор. Здесь она ожидала увидеть лейтенанта, но его не было.

— Вот, все, — сказала Тоня, — беги, ничего у тебя нет, слава богу. Артистка.

Надька покривилась, показывая, что у нее все-таки живот побаливает. А на «артистку» она, мол, и отвечать не хочет... Неужели ее сейчас вытурят, и все будет кончено?

— Ты далеко живешь-то?

Ответить Надька не успела. Из-за угла появилась моложавая высокая врачиха с фонендоскопом на шее, за нею санитар с пакетом рентгено снимков в руках, еще медсестра, и врачиха сразу зашумела:

— Вот она где! Шапошникова! А мы тебя ищем! К Федор Иванычу! Срочно. Орловского же на выписку!

Тут же о Надьке забыли, Тоня лишь подтолкнула ее в сторону выхода. Тоня оправдывалась, вдруг все повернули назад и втекли в какой-то кабинет. Врачиха говорила:

— Я сама сначала должна посмотреть, там было маленькое нагноение, прошло? Лейтенант Орловский! — скомандовала на ходу. — Вы здесь?

Дверь закрылась, Надька осталась в коридоре одна и не знала, что делать. Дверь отворилась опять, толстая Маша везла из кабинета длинную алюминиевую палку на колесиках, наверху были укреплены две перевернутые бутылки с висящими из них трубками. Она никак не могла выйти в дверь, Надька подскочила помочь, и ей стало видно, как внутри кабинета, у окна, врачиха осматривает раздетого до пояса лейтенанта, слушает его трубкой, качает головой, а он усмехается.

Маша вытащила палку на колесиках, дверь закрылась, но Надьке казалось, что она продолжает видеть озабоченную врачиху, сестер, лейтенанта с усмешкой на лице. Надька хотела спросить, что с ним, но Маша уже покатила свою палку по коридору. Перевернутые бутылки сверкали.

У ворот солдат окликнул Надьку, она даже не поняла, что это ее, напряглась.

— Тут не тебя твои подруги искали? Одна черненькая такая? — Солдат изобразил Бухару, прищутив глаза. — Они сказали, в парке будут или в кафе. Слышишь? Надька кивнула и пошла.

В парке все так же дуло, все так же играли в шашки старики, так же катали коляски молодые матери. У нее столько пронеслось событий, неужели они уместились в полчаса-час? Надо было как-то все переварить. Она села на ту же скамейку, где начала свою игру. По дорожке несло листья, они грохотали. Выражение лица у Надьки смягчилось, сделалось такое, какое было, когда она мерила платье. Но уже через минуту она усмехнулась криво и поднялась. Не чего!..

На открытой терраске кафе, выложенной голубым кафелем, под голубым зонтом сидели за столиком Ленок, Жирафа и с ними мужчина лет тридцати. Ветер дул, было прохладно, народу никого, только две старухи пили кофе из граненых стаканов, грея о них руки. А за столом шла пирушка: стояла бутылка вина, горкой лежали на тарелках бутерброды и пирожные, и еще лежали на стуле, придавленные синей спортивной сумкой от ветра, несколько журналов и газет.

Надька остановилась, смотрела издали, из аллеи: кто да что? Мужчина говорил, сам смеялся, девчонки сидели чинно. Стаканы стояли перед ними.

Жирафа первая увидела Надьку, кинулась, вскочила, опрокинула стул.

— Гуляете? — сказала Надька. — А Бухара где?

— А ты-то где? Ты! С тобой чего? Бухара тебя ищет.

— Со мной нормально.

— А, нашего полку прибыло! — воскликнул мужчина. — Будем знакомы: Николай, лесник, охотник, а вы Надя, Надюша. Очень приятно. Я вот рассказываю девочкам как раз про чудеса природы... Да, кстати, Надежда... Это же Надежда, Вера, Любовь! Таким молоденьким девушкам пить нельзя, я пью один, но разрешите налить капельку, вот чистый стаканчик, символически... Я отдыхаю сегодня, один день проездом в городе, соблазны цивилизации, кегельбан, чертово колесо, глоток вина... Он болтал, галстук у него был распушен, куртка расстегнута, кепка на затылке. Он был симпатичный, веселый, глядел синими глазами, и хотя был, конечно, старше лейтенанта Орловского, но казалось, что моложе. Судя по вытянутой шее и спине Ленка, он уже произвел на нее впечатление. Жирафа его, конечно, не интересовала, хотя он и о ней не забывал: Нина, Нина, Ниночка. Лицо у Жирафы было красное и грубое, не иначе выпила глоток.

— Ну, девочки, позволю себе за вас, за такую приятную юную компанию, мне просто повезло, я считаю, — такие девчонки, честное слово, я от души, ну символически, глоточек. Кто со мной? Живешь, как рак-отшельник, весь год, не видишь живой души... Надюша, бутербродик! Надюша у нас серьезный человек, сразу видно, но не будем хмуриться, я вот рассказывал девочкам, приглашаю вас тоже к себе на кордон — о, что я вам покажу! какие места!.. Всего три часа на поезде, там еще немножко автобусом, а если дадите знать, встречаю сам, на своем «газике», я охотник, Надюша, я лесник, я очень интересный человек, между прочим...

Тут Жирафа глупо икнула, и Николай тут же ее подбодрил:

— Ничего, Ниночка, не смущайтесь, все естественно. Может, лимонаду? — Он угощал, хрустел фольгой шоколада, не закрывал рта. — Проведем этот день вместе, а, девчата? Я хочу взглянуть на ночной город, скучаю по огням ночных городов. Я еще за нашу встречу! Мне просто повезло, ей-богу!.. Целый год — ружье, собака, приемник включишь, и все... Ленок, приедешь? Ну, за встречу! Капельку! Символически! А?..

— Мне это не полезно, — сказала Ленок, отодвигая стакан. Щеки ее и без того рдели.

— Ну а Надюша?

Надька откинулась и сказала:

— Кислятина. Коньячку бы.

— Да? — Охотник удивился и поглядел на Ленка. Надька думала, Ленок ей подыграет, но та была невозмутима, лишь чуть покачивала спиной. Ну Ленок! Охотник посмотрел Надьке в глаза и сказал трезво: — Рано вам коньячку.

— Все вы знаете, — сказала Надька, — что нам рано, что не рано. Ленок! Пошли?

Тут Жирафа еще раз икнула и стала подниматься нетвердо.

— Да, я пошла.

— Куда, куда? — затараторил Николай. — На свежем воздухе все сейчас пройдет, что вы, девочки, нарушать такую компанию... Но можно на такси... Отвезти ее и...

— Ленок! — повторила Надька и тоже встала. Она ожидала, что и Ленок встанет. Но та отвела глаза и будто не слышала, не понимала.

— А мы еще посидим, Надюша. Ленок, мы посидим? — уговаривал Николай.

Жирафа уже уходила, торопясь, видно, ей хуже и хуже становилось.

А Ленок молчала.

И тогда Надька захохотала. Деланным, дурным смехом. Мол, ну-ну, давайте. Но без меня... И так с этим смехом и пошла.

Дверь открыл отец Жирафы, тоже длинный, тощий, ничего не понимал. Надька, поддерживая Жирафу, бормотала, что ей, мол, плохо стало в метро. Но отец отстранил Надьку, нагнулся и понюхал. Скорчил такую мину, будто на жабу наступил. И стал отстегивать подтяжки.

А в коридор уже вышла мать в ночной сорочке до пят и халате, с завязанным горлом и что-то хрипела шепотом. Жирафа беспомощно закрывалась, а отец хлестнул подтяжками, не попадая и сам трясясь, а мать не защищала дочку. Надька ринулась заслонить подругу, но отец и на нее замахнулся. Брюки с него свалились, он держал их одной рукой, другой махал неуклюже, потом вдруг бросил подтяжки и пошел.

А мать неожиданно молча заплакала.

Надька лежала у себя на кухне на раскладушке, руки за голову, а мама Шура сидела рядом на стуле, не зажигая света. Но уличный фонарь сильно светил, и было все видно.

Мама Шура шептала, Надька слушала.

— Поедем, поехали, тебе говорю. А город-то у нас какой! Видела небось по телеку!.. Море, океан, корабли, военный флот! Одна молодежь там кругом. Сама увидишь. Так заживем с тобой, на радость. А тут-то не поймешь что. Что у тебя за жизнь, чего ты хочешь, учиться толком не учишься, какой смысл-то? Смысл в жизни должен быть, доченька! Смысл! Вот поедем, найдем тебе дело, парня хорошего, моряка, чтоб с деньгами, с перспективой, как у людей, с квартирой... Да у нас у самих квартира, увидишь, обстановка вся — импорт, телевизор цветной... Надь! Ты слышишь? А?.. Что молчишь?

А что было Надьке сказать? Что все это ей не нужно? Но насколько ей известен этот человек, ее мать, мама Шура, ей этого не понять. А сказочные ее посулы — за тридевять земель.

В комнате — сюда слышно — не спит, кашляет мамка Клавдя.

— А ей денег дадим, — шепчет про нее Шура, — не обидим, писать ей будешь. — Шура еще понизила голос, у нее, видно, все было решено. — Я думала-то попозже тебя забирать, через годик, а теперь гляжу: чего ждать-то?.. Слышь, Надь?.. Виновата ведь я перед тобой, дочка...

И тут раздался звонок в дверь, все испугались: кто бы это так поздно?

Надька побежала первой: кто там? Услышала ответ, стала открывать. Мамка Клавдя и мамка Шура стояли в разных дверях, ждали. За дверью была Ленок. Надька схватила Клавдино пальто с вешалки, набросила и вышла.

И вот они сидят на лестнице, на подоконнике. Ленок смотрит в одну точку.

— А потом что? — говорит Надька. — Ну?.. Так я и знала. Поверила! Ну дура!

Ленок молчит, удерживает изо всех сил слезу, но усмехается.

Тянется пауза.

— Охотник! — говорит Надька. — Адрес-то хоть оставил?

— Да куда он не уехал, он тут у друга живет.

И Надька опять смеется — таким же, как в парке, смехом.

— Эх! — говорит Ленок. — Ладно! — И спрыгивает с подоконника. Но не уходит, еще что-то хочет сказать. Кидает в рот горошинку.

— Куда? В поздноту такую? Оставайся у меня.

Тут дверь открылась, и выглянула мама Шура в голубом халате.

— Девчата, вы что? Второй час. Хоть в дом зашли бы.

— Сейчас, — Надька отмахнулась от нее.

— Ну все, Надь, я пошла, — Ленок тряхнула головой, побежала вниз по лестнице.

— Чего она? — не поняла Шура.

— Ничего! — грубо сказала Надька и запахнулась в пальто.

— И что у вас за дела? Среди ночи!.. Что за подруги такие?.. Отшить это все!

Пропадешь, ты что, с этой шушерой! Надь! Поехали, — Шура продолжала свою тему.

— Да куда я поеду-то? — наконец-то она ответила. Но грубо. Так, что Шура сразу напряглась.

— А что? Почему?

— Да не могу я.

— Почему?

И тут, неизвестно как и отчего, Надька выпалила:

— Нельзя мне, я ребенка жду.

— Что? — Шура вытаращилась. — Да ты что?.. Как?.. — Шура давилась словами. Зашаркала, закашляла у самой двери, стала на пороге Клавдия.

— Спать идите! Вы чего тут?

Шура крутанулась, закусил губу, но, скрепясь почему-то, смолчала. И пошла в дом. Надька сидела напротив госпиталя одна, на той же скамейке. В воротах общались через решетку больные в теплых халатах и навещающие их матери, отцы, военные. Надька ждала. Чего? Сама не знала. Что ее сюда притянуло? Нет, понятно, ей интересно выяснить: выписали его или нет. Но зачем? За-чем? Вон идет, кстати, стройный, молоденький, в форме... Нет, не он.

— Дура! — сказала она и стукнула себя в лоб. — Дура!

Встала и резко пошла прочь.

В училище, вернее, в клубе хлебозавода, при котором училище, шел вечер по случаю нового учебного года, хотя учебный год уже больше месяца как начался, о чем и говорил висящий над сценой плакат: «С новым учебным годом!» На сцене в президиуме находились директорша Ольга Ивановна, белоголовый, как лунь, ветеран в значках и орденах, потом еще мужчина, тоже уже седоватый и в возрасте, и еще один моложавый военный — улыбающийся, радостный капитан.

Говорились речи, приветствия, призывы лучше учиться, говорилось, конечно, что хлеб — это основа, и директор Ольга Ивановна по бумаге читала цифры, сколько выпекается в стране хлеба, какие нужны специалисты. И, конечно, зал потускнел, начались шепот и разговоры между собой, пока выступал старик-ветеран товарищ Богданов. Он тоже говорил высоким и громким голосом про хлеб, про то, какой был голод в войну и еще раньше, в войну гражданскую, а теперь, мол, некоторые выбрасывают буханками. Эта тема, хоть и справедливая, всем была знакома, старик волновался, а зал не понимал его волнения...

А потом Богданов сказал:

— В нашем обществе стало наблюдаться, что вы, молодежь, так себе думаете: чего хочу, того подай. Безо всякого. Хочу того, хочу сего. Вот у меня внук. Четырнадцать лет, а ноги — уже мой размер. И я ему дарю свои штиблеты. Очень даже хорошие штиблеты, крепкие, я их с пятьдесят второго года берег, сам не носил. А он поднимает меня с этими штиблетами на смех. — Бухара и Ленюк засмеялись. Старик продолжал сердито: — Он поднимает меня на смех, но смеху, между прочим, здесь нет никакого. А это показывает, что человек заражен вирусом, чтобы было, как у всех. Но это глупый вирус и вот почему. Потому разве люди одинаковые? Люди очень разные. А хотят, как один, ходить в одних и тех же штанах. Вот я ему и говорю: глупый, в этих штиблетах ты будешь самый что ни на есть ни на кого не похожий, своего облику человек, скажи деду спасибо. Он говорит «спасибо», но это «спасибо» Какое? — И дед изобразил ироническую гримасу, от которой Бухара совсем покатила со смеху. — Ну, посмейтесь, посмейтесь, — сказал старик Богданов. — Смеяться не грех. Но я говорю перед вами, чтобы направить ваши молодые головы на то, что человеку надо. Надо трудиться на благо всех, а не забивать мозги про одни модные вещи типа каких-то красавок.

Все хлопали, смеялись, старик Богданов хотел говорить еще, но директриса передала слово военному капитану. Капитан глядел весело и уверенно — по залу прошел шелест одобрения.

— Хочу сразу спросить: есть ли среди вас такие, у кого или брат, или друг служит в рядах Советской Армии?

— Надьк! — Бухара хохотнула и двинула Надьку в бок, но Надька так глянула, что Бухара осеклась. А зал колыхнулся, кто-то смело крикнул:

— Есть!

Капитан поднял руку.

— Ну вот и хорошо. Потому что я как раз об этом хотел вам рассказать. Что в армии проверяются не только качества молодого человека, бойца, но проверяется и тот, кто его ждет, кто ему пишет. Как нигде, солдату или моряку нужны привет и забота родных и друзей, но особенно той, кто ему нравится...

Надька спохватилась, что слишком внимательно слушает, и сказала: «Какую-то чушь порет. Чумак». На нее зашикали. Тогда она встала и выбралась из зала.

Она сидела в закутке под лестницей, а по училищу уже гремела музыка, начались танцы, в фойе вышли директриса и другие преподаватели провожать старика Богданова и капитана — каждый держал в руке по три гвоздички (капитан отдал их потом обратно директрисе).

Девчонки стояли в стороне. Бухара приплясывала на месте: мол, пошли танцевать. Надька кривилась, Жирафа глядела уныло, а Ленок вдруг подняла пальчиком рукав и посмотрела на часы — электронную, с браслетом, машину.

— Мне пора. Я с вами не могу.

— Что это? Что это, откуда? — Бухара так и вцепилась ей в руку. — Вы глядите! Ленок, откуда?.. Ну часы!.. У тебя ж не было!

Ленок одергивала руку, все глядели на нее в упор.

— Где взяла, там нету, пусти! — Она еще раз рванулась от Бухары и пошла слепо, ни на кого не глядя.

— Куда это она? — Бухара смотрела на Надьку, и Жирафа смотрела. Между ними никогда не бывало тайн. — Ну дела! Добегается? Пошли?

Надька покривилась: мол, неохота. Жирафа тоже стояла вяло.

— Не пойдете, что ли? Ну ясненько! — И Бухара, закусив губу, побежала от них и ввинтилась в толпу, которая уже тряслась среди фойе.

Надька потихоньку открыла своим ключом дверь, вошла и сразу услышала голоса, плач и кашель мамки Клавдии, высокий ее голос, и тема знакомая: растила, берегла-лелеяла, поила-кормила... Надька осталась за дверной занавеской в прихожей: может, сразу уйти?

Клавдии отвечала на крике мамка Шура:

— Довоспитывались! Дождались! Шестнадцати нету девчонке!

Так-так. Надька уже и позабыла свою шутку, а тут, оказывается, страсти кипят.

— Мы-то хоть любили, с ума сходили, — кричит мамка Шура, — я в огонь и в воду готова была за своего-то, а эти? И без всякого тебе якова, спокойненько: жду ребенка, и все! Да я чуть с ума не сошла с этим ребенком, когда узнала, руки на себя готова была наложить! Нет, в самом деле, роковая это была ошибка, на всю жизнь горе!.. Ну хоть кто это? Кто? Кто приходит? Кто с ней ходит?

— Да я почему знаю? — кричит Клавдя, и Надьке видно в прорезь занавески ее спину. — Я такого и не слыхивала! Откуда ты взяла-то? Они и с парнями-то не гуляют, все сами!

— Кто? Кто? — не слушает мамка Шура. — Так своими бы руками и удушила!.. Я с собой ее хотела взять, с собой, понимаешь ты? Там простор, там ей перспектива, а здесь что? Тесто месить? Хлебобулочная!

— А, с собой! — взвизгивается мамка Клавдя. — Сговорила! Забирай, увози! Глаза б мои на вас не глядели! Всю жизнь им, всю жизнь! Измываются, как хотят! Я ее на руках вот этих... Хлеб тебе не нравится? — Видно, как она ухватила полбатона со стола. — Хлеб им не нравится! Та тоже нос воротит: от тебя мукой пахнет! Ах вы паразитки! Бери ее, одеколоном облейте, чтоб вам корки сухой не видать, как нам, бывало! — Мамка Клавдя задыхалась, закашлялась, но все равно кричала: — Уйдите! Уходите! Забирай! Вези! И конец!

— Да? Теперь забирай? Кому она теперь нужна такая? Срамиться? — Шура деланно смеялась. — Сберегли девочку! Спасибо!

Надька повернулась и пошла в открытую дверь. Детей рожать — срам и позор? Дети не нужны? «Роковая ошибка»? Правильно. Мы вам не нужны, и вы нам не нужны. Всё чума!

Она спустилась по лестнице вниз, а тут в подъезд вошли двое, и Надька не сразу узнала — они первые к ней обратились, мать и отец Жирафы. Одетый в длинный плащ, отец казался еще длиннее, мать держалась тихо, все с тем же завязанным горлом.

— Надюш! — зашептала она. — Надюш, ты куда?.. Вот она, видишь, дома, — обратилась она к мужу. — Здравствуй, Надюш!

Надька ничего не понимала.

— У тебя Нинки-то нашей нету? — Надька удивилась. — Вторую ночь дома не ночует, — объяснил отец. — Думали, у тебя.

Надька покачала головой, но они уже по ее виду поняли, что Нинка не у нее. Мать тут же повернулась уходить, отец насупился.

— А где она может быть-то? У кого еще?

Надька пожала плечами. Ну и Жирафа... Ничего, главное, не сказала. Где ж она в самом деле?

— Ты скажи, ты не скрывай, — шептала мать. — Ты сама-то куда?

Надьке хотелось им сказать, — бить не надо было, а куда я — не ваше дело, но то́, что они ходят в поздноту, ищут Жирафу, это все-таки было что-то, и обидеть их у Надьки язык не повернулся.

— Увидишь — скажи, чтоб домой шла. — Надька кивнула: хорошо. — Ну, где? Где она?

— Не знаю.

Отец потянул мать за рукав: пошли! И они отправились назад, оглядываясь на Надьку.

И опять Надька сидела в парке напротив госпиталя, ждала. Совсем похолодало, ветер гнал уже последние листья, легкая морось сыпалась сверху. Надька ждала, и ей представлялось одно и то же: белые халаты, врачаха с трубкой, усмешка на лице лейтенанта...

И дождалась, увидела: с той стороны ворот к проходной подходят Тоня в плаще и платке и лейтенант в фуражке и в шинели. Тоня что-то говорит озабоченно, спешит, а у лейтенанта лицо веселое, смеется.

Надька хотела вскочить и бежать, нет, сидела и смотрела, потом отвернулась, но точно знала: вот они проходную миновали, вот вышли в парк, вот... Их заслонило трамваем, и они исчезли.

И опять Надька (теперь с Бухарой!) возле госпиталя. Они просят дежурного у ворот вызвать лейтенанта Орловского.

А потом убегают на другую сторону и смотрят из-за кустов.

Тянутся минуты.

Выходит лейтенант, быстро идет к проходной. Спрашивает солдата. Тот недоумевает, озирается. Лейтенант тоже.

Бухара прыскает, Надька усмехается. Они смотрят из своей засады, пока лейтенант не уходит. Он уходит, он их не видел, Надьку не видел, но она-то видела! И свидание вроде бы состоялось!

— Надек! — говорит Бухара. — А я придумала!

И они опять у решетки ворот. Только теперь с ними Жирафа и еще трое пионеров, это сестра Бухары Гулька, четвероклассница, и двое мальчиков из ее класса. Все в галстуках, с подарками, со свернутым в трубочку приветствием, с цветами — букетом астр.

И вот они в палате у лейтенанта, и Гулька читает стихи: «Уж небо осенью дышало...»

А лейтенант потом им рассказывает:

— Я маленьким еще всегда военным хотел быть. У меня дед, Иван Антоныч, деда Ваня, генерал. Представляете? Сейчас, конечно, уже на пенсии, а тогда он еще служил, и я, конечно, каждое лето — у деда Вани в гарнизоне, далеко, в Средней Азии, — песок, граница, змеи да вараны.

— Кто? — переспросила Гулька.

— Ну, ящерицы такие древние, крупные... — Лейтенант рассмеялся. — У деда Вани с утра первая фраза: «Ну, гражданин Советского Союза Сергей Николаевич Орловский, кто у вас дед?» Я должен был вскочить по стойке «смирно»: «Генерал, товарищ генерал!» — «А вы кем будете?» — «Маршалом, товарищ генерал!» Я как от деда вернусь, только в войну играю, мать плачет, отец нервничает, пальцами хрустит, — боже, боже! Они у меня типичная интеллигенция, оба в университете преподают. А один раз я в шутку — уже лет четырнадцать мне было — приемчики им разные показывал, — что с ними было. Бандит растет! А уже в десятом классе сказал: иду в армию, больше ничего! И тут нам всерьез ссориться пришлось: они хотели, чтобы я был физик, историк, писатель — не знаю кто.

— А вы? — спросила Бухара.

— А я, естественно, хотел быть маршалом. Или Александром Македонским!

И тут в палату вошла Тоня и стала, слушая.

— У нас, Орловских, военная косточка, как дед говорит. И я все равно останусь в армии. — Это лейтенант сказал уже Тоне.

— Это там посмотрят, — отозвалась она. — А что у нас тут за делегация?

— Шефы! — сказала Бухара, а Надька отвернулась в окно.

— Вижу, какие шефы! — сказала Тоня и поглядела на Надьку.

И опять Надька стоит у ворот госпиталя, теперь одна, под мелким дождем. И опять ей кажется: вот он идет к проходной, движется прямо к ней... И пропустила момент, проглядела, когда к ней на самом деле вышли вместе лейтенант и Тоня под зонтиком.

— Лариса! — позвал лейтенант. — Смотри, Тонь!.. Привет! Ты чего тут?

— Вас жду, — сказала Надька хмуро.

— Да? Интересно! — Лейтенанту было весело. — Тогда пошли с нами!.. А, Тонь? Пусть она и побудет. Ты как?

Тоня посмотрела на Надьку испытующе. Надька готова была сквозь землю провалиться, нахамить, убежать, но ничего такого не делала, стояла покорно, как овца. Вот проклятье!

— Пускай, — сказала Тоня снисходительно и пошла вперед.

А лейтенант подмигнул Надьке.

Что все это значит, Надьке еще предстояло узнать.

И вот они пришли — уже в наступающих сумерках — к двухэтажному дому за сквозным забором, и Надька не сразу поняла, что здесь такое.

— Вы тут подождите минутку, — сказала Тоня и быстро пошла, а Надька с лейтенантом остались у ворот. Вышла молодая крупная девица в джинсах и в очках, надела брезентовые рукавицы и, открыв ворота, выкатила на улицу один за другим два здоровых мусорных бака. Лейтенант хотел помочь, но девица даже не взглянула.

— Во, дворник теперь пошел! — сказал лейтенант. — Вот это дворник! Пойду в крайнем случае в дворники!

Девица в самом деле взяла метлу и стала мести двор. Мимо нее стали выходить женщины и мужчины с ребятишками за руку, и детский щебет летел из открывавшихся дверей. Это был просто детский сад.

— А ты давно из детского сада? — лейтенант все пошучивал.

— Давно, — сказала Надька. — А вы?

Лейтенант засмеялся:

— А я не ходил, я ж тебе рассказывал; у меня дед был и бабушка была.

— А-а, — Надька сказала это с горьким превосходством: мол, что ты тогда знаешь, маменькин сынок? — Вам хорошо. А я это ненавижу. Я один раз вообще убежала, меня целый день искали.

— Ты девушка с характером, это видно.

Надька хмыкнула. Но, помимо воли, как-то горячо стало: она не привыкла, чтобы ее называли девушкой.

Толстая девица, шаркая метлой, подступила вплотную, они отошли. Но тут появилась Тоня, вела за руку маленькую девчонку лет четырех, в шерстяной шапочке, красной курточке и сапожках.

— Сегежа! Сегежа! — закричала девочка и побежала в руки лейтенанту — он присел и ловил ее. Черт побери, у них тут была уже целая семья. Ну чума!

— Знакомься, Светик, — сказала Тоня, — это Лариса.

— Я не Лариса, — вдруг сказала Надька хмуро. — Меня Надя зовут.

Тоня и лейтенант переглянулись, Тоня хмыкнула, но вроде не удивилась.

— Да, Светик, — сказала Тоня. — Я забыла, это не Лариса, это Надя.

— А Гагиса мне лучше нравится, — сказала девочка, не выговаривая ни «р», ни «л». — Можно, я тебя буду Гагиса звать?

— Нет, — сказала Надька. — Зови Надя. Надя.

— Ладно, — согласилась девочка. — Пошли.

— Светик! Надя сегодня с тобой посидит. Ты посидишь с ней, а? — спросила Тоня Надьку. — Мы тут в одно место должны...

Надька кивнула. Хотя и не понимала: как это и зачем она будет сидеть с чужим ребенком.

— Нет, Гагиса лучше, — не унималась девочка. — Давай Гагиса?

— Нет, — сказала Надька круто, — всё.

Тут дворничиха опять подступила с метлой, и они пошли.

— Мы к десяти вернемся, — говорила Тоня. — Тебе куда ехать? На Первомайскую? Ну, это на метро пятнадцать минут.

Она летала по своей комнате, переодевалась за шкафом, бегала в ванную, красила губы.

— Ну, как я? — спрашивала.

— Отлично! — отвечала с полу маленькая Светлана, она возилась на полу с игрушками. Лейтенант сидел в кресле, резал ножом яблоко и тоже кивал: хорошо, мол. Другое яблоко ела Светлана, третье держала в руке Надька. Есть она не могла. Еще был включен телевизор, еще заглядывала один, и второй, и третий раз соседка, тоже молодая женщина, звала Тоню к телефону, еще Тоня делала распоряжения:

— Чтобы в девять, как программа «Время», в кровать, вот тут все чистое, и хорошо бы под душем ее окатить, сумеешь?

— Да знаю я все, знаю! — кричала Светлана. — Мое полотенце синее вот тут лежит. — Она открыла шкаф, где виднелась стопка белья.

Все у Тони было раскрыто, открыто: здесь, мол, возьмите варенье, в холодильнике на кухне сосиски, пару картошечек отварите, там есть начищенная. Если что, Наташу позови, она дома будет. Это про соседку.

— Пока! Мы ушли! Мы скоро!

— Да знаю я, все я знаю! — повторяла Светлана и выталкивала мать. — Уж идите себе, куда идете, мы сейчас играть будем, да, Надя? Будем?

Как только дверь за ними закрылась, Светлана тут же потянула Надьку за руку из прихожей: пошли, пошли скорей!..

— Ты будешь со мной играть? Будешь?

— Подожди, — сказала Надька и села в прихожей на стул. — Иди, я сейчас.

Очнулась — Светлана тянула ее, усаживала в комнате на пол, на ковер, тараторила. И вдруг обняла ее за шею, повернула к себе.

— Ну что ты, Надюша? Ты не грусти, что ты грустишь? Давай играть.

Надька оторопела от этой детской ласки и не знала, как быть: обнять девочку или погладить?

— Во что? — спросила она. — Я не умею.

— Давай в больницу, — сказала девочка. — Ты будешь мама Тоня, а я Татьяна Петровна. Ты знаешь Татьяну Петровну?

Надька отрицательно покачала головой.

— Да что ты! Это главврач! (У нее получалось смешно: «ггавгач!») Я буду главврач, а ты меня слушай. Мы будем лечить зверей. Как доктор Айболит. — И она потащила из всех углов игрушки.

— Чума! — сказала Надька в растерянности.

— Чего? — спросила девочка.

— Так, ничего, — сказала Надька — Давай играть.

Потом они смотрели «Спокойной ночи, малыши», и девочка сидела у Надьки на коленях. Потом она ее купала под душем, и соседка Наташа заглядывала на крики. И она несла Светлану завернутой в синее полотенце. Потом кормила ее сосисками и пюре. Потом читала ей книжку с картинками. Потом сажала на горшок и опять читала. Ну, до упора дойдешь с этими детьми, ну и работа!

— Спи, я кому сказала! Поворачивайся и спи!

Наконец она заснула, а было уже десять часов, и Надька тут же заснула тоже, свернувшись в кресле.

Гремел всю телевизор, шел захватывающий фильм, и мамка Клавдя сидела в одиночестве с утра, пила чай и глядела вчерашнюю передачу.

— Ой! — вскрикивала она. — Куда же он ее? Погубит!.. Батюшки! — Надька вошла, и мамка Клавдя так и обмерла, схватилась за стул: — Ой! О, господи, это ты!..

Надюшка!.. Ты жива? Что ж это ты делаешь-то? Дома не ночуешь! Где была?

Надька глядела мрачно, взяла со стола пряник, стала жевать, смотреть на экран.

Налила из бутылки можайское молоко.

— Я у Жирафы ночевала, я тебе говорила.

— Чего ты мне говорила? Когда? А ну-ка! — Мамка Клавдя встала, взяла ее за руку, удивляя Надьку, осмотрела странно. — Достукалась?

— Да чего ты? — Надька продолжала смотреть на экран.

— Чего? Ты не знаешь «чего»? А? Не знаешь?

В это время на экране кого-то потащили, там закричали, посыпались выстрелы. И Надька и мамка Клавдя — обе глядели туда, но продолжали свой разговор.

— Уж и дома теперь не ночуй, да? Все одно?

— Да говорю, у Жирафы! Чего ты?

— Я знаю эту Жирафу! Как же ты могла-то? — Оно опять схватила Надьку и странно глядела. — Ну? Ты скажи!

— Ну, чума! Отстань ты от меня!

— Она мне все сказала!.. Ой, срам! О, мало мне с тобой горя! Нет, она прокляла тебя, и я прокляну!

— Да какое ваше дело? — Надька вдруг засмеялась. — Какое?

— Не наше?.. А чье? Ты соображаешь?

На экране в это время убили женщину, и она умерла, закатив глаза.

— Ну? Что это значит-то с тобой? Как это? Когда?

— Да отстань!

Тут раздался звонок в дверь.

— Она! — сказала Клавдя. — Она-то прям не в себе. Гляди! Святая тоже нашлась...

Иди вот сама открывай...

Надька, скривив улыбочку, пошла.

В дверь широко и резко вошла мама Шура.

— Собирайся! — сказала Надьке сурово. — И без всяких!

Надька откусила пряник и, не отняв его ото рта, смотрела на Шуру. Жевала.

— Без всяких! — напирала Шура. — Всё!

Надькин взгляд говорил: не пугай. Ей было не до них.

Надька смотрела на огромную карту Советского Союза. Карта висела на вокзале. По карте протягивались черные линии железных дорог. Вот город Свердловск. Вот автомат с кнопками. На клавишах названия городов. Нажмем на город Свердловск. Побежали, затрепетали крылышки автоматического справочника, отщелкали и остановились. Свердловск. Отправление, прибытие, поезд такой-то, поезд другой, третий, цена билетов — все есть, пожалуйста, бери билет и езжай.

Лейтенант в это время стоял в воинскую кассу в короткой, человек из пяти, очереди. Надька не выпускала его из поля зрения.

Вот он уже у окошечка. Отошел, изучая билет, положил во внутренний карман, застегнул шинель. Уезжает, значит? Ну-ну, слава богу.

Когда он один, лицо у него деловое, сосредоточенное, без всякой лирики.

И ж а л к о его. Хочется пожалеть. Почему? К черту эту жалость! К черту!

Вот он идет! Теперь уже с билетом в кармане. А что, если в Свердловск поехать? А что там, в Свердловске? Экая даль!

Она следила за ним, шла, таясь за людьми. Зачем?

Вот подошел к киоску, купил газету, развернул на ходу, насупил брови, постоял, почитал, двинулся дальше. Газету убрал в карман.

Ничего не знает, ничего не чувствует, даже не оглянется. Интересно вот так следить за человеком. Как сыщик, идешь за ним, а он ничего не знает. Нет, вы не уйдете, товарищ лейтенант. Нет-нет, вам не удастся затеряться в толпе у входа-выхода. Куда? Куда?! Вон мелькнула фуражка. Пустите, разрешите! «Ты что, девочка, с ума сошла?» С ума сошла! С ума сошла!..

Она выскочила на ступени вокзала, увидела сверху, как лейтенант склонился к такси, открыл дверцу, сел и уехал.

Куда? В госпиталь? К Тоне?.. Зачем ему в госпиталь? Конечно, к Тоне! Пусть едет. Ей-то что!..

И вот она уже покупает билет в кино. Днем. У пустой кассы. И сидит в полупустом темном зале.

И опять Надька стоит у проходной госпиталя, опять с ней Бухара, и она спрашивает Тоню Шапошникову — дежурный звонит по внутреннему телефону.

— Шапошниковой сегодня нет.

— Спасибо, — Бухара вопросительно посмотрела на Надьку. — Небось дома?

Надька кивнула, они отошли.

Так, соображала Надька, значит, дома. Что делать? Поехать туда?

— А что, взять и поехать! — сказала Бухара. — И ничего такого. Здрасьте, это я.

— Да на черта мне это надо? — Надька повернулась, чтобы идти, и увидела: подъехало такси, и из машины вылез лейтенант Орловский, а шофер подавал ему изнутри свертки-коробки. Надька замерла. Бухара тоже. И тут что-то упало у лейтенанта из рук. Бухара — раз, — только глянув на Надьку, подбежала и подняла.

Лейтенант увидел Надю.

— Надежда! Привет! — закричал он, и Бухаре: — Спасибо, вы откуда?.. Помогите, пожалуйста, это я маленькие тут сувениры сестрам-врачам... Возьмите вот это еще, а? Пошли, пошли! Поможете... Это со мной... — сказал он солдату.

Но Бухара сказала: «Я здесь подожду». — выразительно глядя на Надьку. И осталась.

А Надька взяла сверток и пошла с лейтенантом опять через такую уже знакомую проходную в корпус. Сердце у нее билось, но она усмехалась криво. Лейтенант попросил подождать и быстро ушел, путаясь со свертками. Надька поняла, что дальше, внутрь, ходить ей с ним не нужно. Она сидела одетая в коридоре, на скамье у входа, проклиная себя, и думала: надо уйти. В зоне зрения появилась толстая Маша.

Так, сейчас пристанет.

Та в самом деле удивилась:

— Ты чего тут? К Тоне? Она сегодня отгул взяла.

— Нет, я знаю, я так.

— Не на работу к нам устраиваешься?.. Хотя мала ты еще у нас работать.

— Ничего, подрасту, — сказала Надька.

— Давай, давай, — сказала Маша. — У Тоньки будешь как за каменной стеной. — И ушла медленно.

И тут подкатился совсем молоденький парень в больничной пижаме. В руке его болтался чертик, связанный, как это делают больные, из раскрашенных хлорвиниловых трубок. Парень ловко и забавно играл чертиком, как настоящий кукловод, и пищал:

— Уважаемая публика! У нас в госпитале посторонние! Непорядок! Как вы сюда попали? Ваше имя? — Он был наголо остриженный, с закованным в гипс горлом, бледный, худой, веселый. — Ваше имя! Ваше имя! — требовал чертик.

— Перебьетесь! — сказала Надька.

— Ой, как грубо! Он, грубо! Какое грубое обращение с больным! Сейчас же к Федору Иванычу! — пищал чертик. — К Федору Иванычу. А лет сколько? Сколько лет?

Надька хоть и отвернулась, а рассмеялась.

— Смеется, ура! — хлопотал и бил в ладони чертик. — Смеется!.. А может... ты к кому пришла? Ты не ко мне?.. Скажи! Скажи!

Тут подошли еще двое, один тоже молодой, а другой постарше и оба с улыбками. Тот, что постарше, сказал:

— Селиверстов не теряется... Познакомь, клоун!

— Перебьетесь! — ответил им Селиверстов чертиком, точно скопировав Надьку. — Идите, дяденьки, своей дорогой... Правильно я говорю? — опять обратился чертик к Надьке, и она невольно кивнула.

Все рассмеялись, а Надька смутилась. Но тут, слава богу, в конце коридора показался лейтенант, он нес в руках свою шинель и на ходу надевал фуражку. Торопясь, он прихрамывал.

Все повернулись за Надькиным взглядом и поняли, кого она ждет.

— Ну, что тут? — лейтенант всех оглядел. — Привет, Селиверстов!.. Не обижают? — обратился к Надьке.

— Здравия желаю, товарищ старшой! — весело сказал Селиверстов. — Вы что, как можно обидеть? Она сама нас обижает. Общаться не хочет. А вы, значит, все?

— Да вроде. Наконец-то.

— Да уж! Вы, говорят, тут побыли — ого!

— Не говори. А ты-то как?

— Нормально, товарищ старший лейтенант! — ответил Селиверстов чертиком, и все рассмеялись.

Второй, чуть помоложе, помог Сергею вдеть руку в рукав, тот поморщился, когда одевался, Надька это видела.

— На! — вдруг протянул ей Селиверстов чертика. — Возьми. Бери, бери, я себе еще сплету. Времени навалом...

Надька глянула на лейтенанта, спрашивая: взять?

Он разрешающе кивнул.

И Надька взяла: спасибо.

Они вышли, а Бухары не было.

— Где же она? — спросил лейтенант. Надька пожала плечами.

— Подождем или поедем?

— Куда?

— Как куда? К Тоне. Я ж уезжаю. Все.

— А я чего?

— Да ладно! Поехали!

Надька играла чертиком. Они ехали в автобусе, сидели на одном сиденье, автобус был полупустой.

— Ну а у тебя что новенького? — спросил лейтенант.

— У меня?

— У тебя, у кого же.

Надька плечами пожала: мол, что может быть новенького?

— Все нормально. Уезжаю. На Дальний Восток.

— Ты? К кому? Зачем?

— Так.

— Выходит, нам по пути. Ты самолетом или поездом? — Он засмеялся.

— Поездом.

— Ну все! Ты когда?

— А вы когда?

— Я девятнадцатого.

— Ну и я.

Он опять рассмеялся. А Надька нет.

— Кстати, ты где учишься? — спросил лейтенант.

— Нигде.

— Как нигде? Работаете?

Надька покрутила головой. Чертик в ее руках мотался так и сяк.

— Так. Значит, не учишься и не работаешь?

— Не-а. Зачем?

— Как зачем? Зачем все учатся или работают?

— Не знаю. По глупости.

— Интересно. Выходит, все дураки?

Надька пожала плечами.

— У меня тоже был один такой солдат. Я, говорит, не хочу, как все... Я...

— Я — не солдат, — сказала Надька, — и потом — все равно я никому не нужна. — Надька говорила с ним, либо посматривая только на чертика, либо отворачиваясь в окно. И теперь совсем отвернулась, глядя и не видя бегущие мимо дома, деревья, магазины. И ожидала, что лейтенант будет продолжать опять что-то воспитательное или насмешливое. Но и он замолчал.

— Почему это? — спросил потом.

Она молчала.

— Так не бывает. Каждый человек кому-то нужен.

Она молчала. Потом взглянула искоса. Он смотрел на чертика. Тогда она повернула к нему голову. Лицо у него стало грустное, он усмехался.

— Я, похоже, тоже никому больше не нужен, — вдруг сказал он и подмигнул. — Но ничего. Ни-че-го! — И щелкнул по чертику.

Так они ехали, чертик болтался между ними.

— Слава богу, наконец! — Тоня стояла одетая в дверях. — А я уж заждаюсь! О, Надька! А ты откуда?.. Привет! Когда вы, интересно, сговорились?

— Военная тайна! — сказал лейтенант. — Да, Надь?

— Я за Светкой, я быстро, а вы посмотрите тут, Надь, сумеешь? — Она потянула Надьку на кухню, показала на кастрюлю борща, кипящего на малом огне, на другую с начищенной в ней картошкой, на приготовленную в духовке на противне утку — только огонь зажечь. — Я оттуда такси возьму. Утка уже готова, только разогреть... Сергей! — тут же позвала она и, обходя Надьку, ушла к Сергею, который уже разделся и причесывался в прихожей перед зеркалом. — Ну? — спросила она его. — Я жду, жду.

— Да я уже все сделал.

— Как? Сам?

— Пора без нянек обходиться. Сам.

— А билет?

— И билет взял.

Тоня хмыкнула как-то и сникла на глазах. Неопределенно улыбнулась: мол, воля ваша, хозяин — барин. Обернулась к Надьке, которая смотрела из кухни: ты-то не в курсе? Надька отвела глаза.

Вся эта ситуация была странной и странно Надьку мучила. Какая-то сила несла ее вперед помимо воли, она делала, чего ей вроде бы не хотелось, противилась и не могла противиться. Как вышла эта встреча с лейтенантом, столь долгое с ним общение? А теперь Тоня уходит, и они опять вдвоем — что все это значит?

— На девятнадцатое? — спросила Тоня.

Лейтенант кивнул, улыбнулся.

— Ну, спасибо хоть на этом, еще два дня, — сказала Тоня. Не без обиды.

У них с Сергеем были свои дела и свой шифр.

— Ладно, я скоро, — сказала Тоня, — я обратно такси возьму... — И ушла.

Лейтенант прошел в комнату, включил телевизор. Надька вернулась из прихожей на кухню, но что делать, не знала; все, кажется, было сделано. Открыла холодильник — там стояли водка и шампанское.

Она попила из-под крана воды. Прислушалась. Звуки телевизора — больше ничего. Тянуло туда. Вот чума. Надо было что-то делать. А что? Зачем?

Она пошла на цыпочках в прихожую и взяла с вешалки куртку. Телевизор работал вовсю, лейтенанта не было видно. Уйти. Бежать. Раз и навсегда. Не одеваясь, взялась за замок.

И тут он вышел.

— Ты что? Ты куда?

— Я пойду.

— Почему? В чем дело? — Надька молчала. Стояла понурясь. — Надя! Ну!

Она молчала. Он пошел прямо на нее и взял из рук куртку.

— Брось!

— Чего мне тут делать-то? — грубо сказала она.

— Тебе ж поручили за обедом смотреть.

Надька замерла. Они стояли чуть не вплотную. Сердце ее билось, и она боялась, что Сергею слышен его стук. Чума, ну чума и только.

— Пошли! — И он повел ее, пропустив перед собой, в комнату. — Ну что ты в самом деле? — Подошел и взял за плечи. — Я же уезжаю.

Он смотрел на нее, он улыбался, он был ласков, он шутил, — зачем все это? Что все это значило? Надька не знала, что делать. Она только чувствовала, что теряет себя, свою волю, силу, независимость. Чума... И ее надо одолеть. Ну, что он ее за плечи взял?.. Она вывернулась, как-то скособоченно стояла... Она вдруг потеряла и все свое искусство притворства, размякла. Что делать?

— Садись, будем хоккей смотреть, — предложил лейтенант. — Или ты не любишь? — Сел и похлопал по кушетке рядом с собой.

Надька осталась стоять. Он смотрел вопросительно.

— Возьмите меня в Свердловск, — сказала она.

Он раскрыл глаза: мол, ты что, девочка?

— Правда, — сказала Надька. — Мне все равно.

Тогда он опять поднялся.

— Это бывает в твоём возрасте. Это пройдет.

Надька хмыкнула, повернулась и пошла на кухню.

— Надь! — позвал он. Но она не вернулась. Телевизор загремел звуками хоккейного матча.

Она остановилась в прихожей. Перед ней было зеркало. Приложила руки к щекам — щеки горели. Прищурилась. Сказала себе: нет, она больше не останется. Вообще надо что-то сделать. Сейчас, раз и навсегда. Покончить с этим. Что за дурь вообще?

Опять вышел из комнаты Сергей.

— Надь! Ну ты что?..

— Все нормально, — сказала Надька. — Включите там духовку, а то я боюсь.

И когда он вошел в кухню, она взяла и задвинула задвижку на входной двери. И быстро скользнула в комнату, закрыла за собой и эту дверь.

В дверь стучат, в дверь звонят.

Сергей поспешно открывает, но не может понять, что закрыто на задвижку, дергает дверь и наконец открывает. Странно, что было закрыто на задвижку.

На пороге — Тоня, за ней Светлана.

— Вы что закрылись? Я открыть не могу, звоню, стучу! — Глаза Тони быстро оглядывают дом, прихожую, Сергея. — А где Надька-то?

Сергей растерян.

А Тоня уже идет вперед, не раздеваясь, вот дверь в ванную — открыта, вот дверь в комнату — закрыта. Почему? Она у них никогда не закрывается. Тоня оглядывается на Сергея.

Сергей ничего не понимает. Он стоит за спиной Тони, а Тоня — раз! — и открывает дверь в комнату. Там темно, только работает телевизор, идет хоккей, и в свете экрана видно, что на кушетке кто-то лежит. Тоня тут же включает свет.

На кушетке — Надька, раскинувшись, то ли в обмороке, то ли спит, — разметалась, свитер и сапоги валяются на ковре. Ну и ну! Тоня оборачивается и глядит в упор на Сергея. Он в полном обалдении.

Маленькая Светка, проскочив вперед, тормошит Надьку:

— Надя! Надя! Ты спишь? Ты чего спишь-то? Мам! Чего она?..

Кипит на кухне борщ, кипит-булькает картошка, шкворчит утка в духовке, Тоня шваркает крышками, дверками, она так и не сняла плаща. За ней Сергей.

— Тоня! Ну ей-богу!.. Ну ты что, Тоня?..

Но крышки только бряк-бряк, ножи, вилки — дзинь, дверцы — шварк.

— Тоня!

— Ну хватит! Что я, маленькая, что ли?..

— А, черт!

Сергей влетает в комнату. Надька, натягивая свитер, еще сидит на кушетке, возле нее копошится Светка. Сергей на ходу прихватил Надькину куртку и шарф.

— Ну-ка! — Он поднимает Надьку резко под мышки и ставит на ноги. — Ты что сделала, а? Ты зачем это сделала? Ты понимаешь или нет? — Обдергивает на ней свитер, обматывает ее шарфом и сует в руки куртку. — Давай-ка отсюда! Ну-ка! По-быстрому! Марш!

— Надя! Надя! — цепляется Светка. — Почему ты ее прогоняешь? Не уходи!

— Света! Ну-ка, посиди! — Сергей хватает Светку и крепко сажает на кушетку. — Иди, иди! — командует он Надьке и дергает ее. — Ах, она без сапог! А ну, сапоги! Быстро! — И он толкает ее, понукает, чуть не гонит.

Но надо же натянуть сапоги.

Надька натягивает сапог и начинает смеяться. Лейтенант, конечно, ничего не понимает и не подозревает, что Надька не над ним смеется и что она не его пришибла с Тоней, а себя, свою чуму, свою жалость — вот так ее!

И за этот смех Сергей чуть не вышвыривает ее. И захлопывает за ней дверь. И ему приходится стоять у этой двери спиной, потому что прибежала Светка и бьется о его ноги:

— Зачем ты ее погнал? Надя! Надя!.. Мама! Зачем он ее?..

В прихожую входит Тоня, снимает плащ, ни на кого не глядя, и вдруг резко кричит Светке, которая к ней бросилась:

— А ну замолчи!

Девочка пугается. Она садится на пол и плачет.

— Ведь не для себя я, для нее! — Мамка Шура всхлипывает. — Мне не надо. Мне теперь... у меня...

Ей не идет плакать: лицо ее распухает, делается некрасивым. Тем более что она в действии: собирает вещи, затягивает ремни, застегивает, хотя чемодан и сумка уже собраны, сама она в шубе, в платке. Надька стоит у окна тоже одетая. А мамка Клавдя, наоборот, сидит за столом строгая и ясная, все она уже выплакала и выговорила, выложила на скатерть свои ручища и сидит.

— А ей лучше будет, у нас перспектива, у нас... Надь! Ты документы-то взяла? Ехать ведь надо, сейчас такси придет... — Она приближается к мамке Клавде: — А ты в отпуск к нам сразу. У нас август — сентябрь сказка, прям сказка... Прости меня, — она берет тяжелую руку мамки Клавди, и та не отстраняется. — Ей лучше будет, лучше...

Мамка Клавдя кивает: мол, да, понимаю, согласна. Врывается Бухара:

— Такси пришло!

— Ну вот, ну вот, поехали! — Шура опять суетится, застегивается, подходит к Надьке. — Надь! Ехать!

Надька кивает, но все так же отрешенно. Она поворачивается, ждет, чтобы встала и начала одеваться мамка Клавдя. Но мамка Клавдя встала, а ноги у нее не идут. И она опять садится и говорит:

— Да нет, я не поеду, вы сами. Вон девчонки проводят.
Надька не смотрит на нее, и она на Надьку тоже. Опять эта жалость, эта чума дерет Надьке сердце, и она в ярости не знает, как быть. Клавдя сидит странно спокойная, тяжелая, простая.

— Ну, что ты? — грубо говорит ей Надька.
— Надь! Ехать! — повторяет Шура робко.

И тогда мамка Клавдя поднимается еле-еле, опираясь на стол:
— Чегой-то прям ноги отнялись, — говорит она виновато и даже с улыбкой. — Ну, Надюшка, не могу. Ехайте сами... Будь хоть там-то человеком, не срами себя!...

— Надя! — зовет Шура.

Надька резко подходит к Клавдии — та не успевает обнять, задержать ее, — целует мамку в голову и тут же отпускает. И отходит без всякого, отшатывается, как ванька-встанька.

Шура обнимается и целуется с мамкой Клавдией, словно родней у нее и нет никого. А Надька, не взглянув на свой дом, вместе с Бухарой выходит, вдвоем несут чемодан. Неужели уезжает Надька? На Дальний Восток? Так вот — раз! — и уедет? Неужели кончилась ее непутевая жизнь и начинается другая?.. И мамку Клавдю она бросает, и подруг?..

Бухара заглядывает Надьке в лицо, но понять ничего не может.

И вот аэропорт, и багаж уже сдан, и мамка Шура с Надькой расположились в ожидании посадки у стеклянной стены, за которой видны хвосты самолетов и откуда время от времени доносится самолетный рев.

Шура что-то говорит и говорит, на коленях ее сумка, а на сумке развернутая плитка шоколада, и она отламывает куски и дает Надьке. И Надька ест. Вот она, новая Надькина жизнь, — самолеты, небесные пути, серебряная фольга, вкус шоколада. А где-то наверху, над головами все время мелькает электронное табло: числа, часы, минуты, температура воздуха... И число, между прочим, девятнадцатое. Мелькает и мелькает, мелькает и мелькает.

— Надь, — говорит вдруг Шура. — Я тебе там хотела сказать, да уж ладно, не могу, тут скажу... Одна ведь я теперь, Надь, уже полтора года как одна, ты слышишь?

Надька слышит и не слышит. Еще не хватало! Может, и тебя пожалеть, Шура?

— Что ты так?

— Как?

— Смотришь нехорошо.

— А как мне смотреть? — Надька кривится.

А табло выбивает: девятнадцатое, девятнадцатое...

И Надька вдруг морщится, лицо у нее делается такое, будто ей нехорошо стало, она берется за живот. Мать пугается.

— Ты что? Так, может, все-таки правда?

Надька кривится: да нет, это твой шоколад. Она встает. Шура подхватывается тоже идти с нею, но у нее сумки, коробки, ручная кладь, и Надька машет: мол, не ходи, сиди, я сама. И Надька уходит. Она идет в ту сторону, где на указателе показаны туалеты.

На табло горит: девятнадцатое.

Шура бежит по аэровокзалу. Шура ждет. Люди идут мимо на посадку, там, за стеклами, уже наполнен автобус, и дежурная приглашает Шуру идти тоже.

Шура мечется. Шура объясняет. Шура плачет. Садится среди своих коробок и сумок и плачет.

А Надька едет в полупустом автобусе долгой дорогой из аэропорта. Едет и едет, едет и едет.

Потом на метро.

Потом опять на автобусе.

Первый пушистый снег выпал девятнадцатого числа.

Бухара, Жирафа и Ленки вышли из училища, вернее, из ворот хлебозавода после занятий и увидели... Надьку. Они стали как вкопанные.

Надька поманила Ленка отойти в сторону.

— Ты как?.. Ты же улетела! Откуда взялась? Ты что? — спрашивает Ленок. В ответ Надька снимает варежку и показывает аптечную коробку: маленькие желтенькие таблетки сыплются в ладонь.

— Что? Жить мне больше неохота, вот что!..

Они смотрят друг на друга. Со стороны глядят на них Бухара и Жирафа. У Ленка падает варежка. Она перебрасывает сумку с плеча на плечо и подставляет ладонь: сыпани и мне тогда тоже.

Но Надька качает головой, улыбается, делает шаг назад и, полуотвернувшись, жменей бросает таблетки в рот. Торопится, глотает. Еще. Еще.

— Ты что? Правда, что ли, проглотила? Отравишься! Плюнь, Надя!

Надька смеется. Хватает ладонью свежий пушистый снег и заедает.

— Выплюнь, ты что!

Ленок не очень верит Надьке, все это ее фокусы опять, но все-таки неприятно, она озирается и машет: сюда! Бухара и Жирафа мчатся изо всех сил. Надька отступает, Бухара с Ленком и Жирафа — за ней. Ленок на ходу объясняет Бухаре и Жирафе, в чем дело, те не верят. Куда ты, Надя? Пстой! Надька бежит через улицу, за ней подружки перебегают перед машинами дорогу...

Потом они едут в метро.

— Ну ты дура! — говорит Ленок. — Ты совсем!

— А начинает уже кружиться, — говорит Надька и смеется.

— Да что ты ей веришь? Ты Надьку не знаешь? — усмехается Бухара. — Ну витамин цэ, подумашь!

— Это не цэ, в больницу надо, — говорит Ленок. — На промывание. «Скорую».

— Хватит, меня уже промывали, — говорит Надька и опять смеется. — Отстанете вы или нет? Вот чума!..

Надьке в самом деле все хуже. Перед глазами круги, ноги идут или не идут, непонятно, ее пошатывает и покачивает. А выходят они прямо на вокзальный перрон, прямо к табло, где отбито отправление свердловского поезда. Уже вечереет. Надька останавливается и, еле ворочая языком, говорит:

— Прошу! За мной... не ходите... больше... Все...

И решительно идет вперед одна.

Она идет одна, но ей приходится остановиться, опереться рукой о вагон. Она стоит и уже мало что понимает... Девчонки в отдалении движутся за ней.

— Она отравилась, я вам точно говорю, — шепчет Ленок подругам.

— Артистка! — говорит Бухара.

И вот вдаль у вагона три фигуры: Сергей, Тоня и Светка, которая крутится у их ног.

Надька медленно приближается к ним. Она почти падает.

Они, наконец, видят ее. И отворачиваются, делают вид, что не видят.

Фига! Интересно! Они не понимают! Они не верят! Они не знают,

что и з - з а н и х она решила умереть, убить в себе любовь к ним и сейчас, вот здесь, умрет у них на глазах! Надьку качает, она хватается за столб и больше не может идти.

Ленок хочет бежать к ней, но Бухара останавливает: «Нет, не мешайте ей! — Они потешаются с Жирафой. — Ну, Надек дает!» Они не понимают, в чем дело, ради чего они все оказались именно на вокзале, но вдруг детский крик несется: «Надя! Надя!» Это маленькая Светка увидела Надьку и бежит к ней.

А Надька осела возле столба, ей плохо, ей на самом деле плохо, но все только смотрят и смеются или усмехаются. И она сама смеется. Кто-то из прохожих остановился, обеспокоился: что такое с девчонкой? И проводница ближайшего вагона уже видит, что ей плохо, но с в о и не реагируют, не подходят. «Опять комедия!» — говорит весь вид Тони. Она отворачивается, но профессиональное чувство подсказывает ей: тут что-то не так. Она говорит с Сергеем, тот тоже старается не глядеть назад, но теперь, когда побежала Светка, обернулись.

— Надя! Надя! Ты что? — лепечет Светка, присев возле, а у Надьки закатываются глаза, она уже не может смотреть.

— Мама! Мама! — кричит Светка и бежит к Тоне. — Мама!

Надька падает ничком и тоже хочет повторить «мама», а шепчет:

— Чума...

Надька поднимается по своей лестнице домой — все кончено, оборвано, Сергей уехал, Тони ей никогда не видеть, никого не видеть, конец. Ее сопровождают Ленок и Бухара. Но потом отстают. Надька бледна, устала, открывает своим ключом дверь. Но нет, дверь не открывается, она заперта изнутри. Надька не успевает постучать — открывают. Мамка Клавдя стоит на пороге: седая, простоволосая, старая, в старой латаной рубахе. И Надька тычется в нее, обнимает, приникает, опускается на колени, как блудный сын на картине Рембрандта.

Мамку Клавдю не держат ноги, она садится тоже, и Надька рядом с ней. Обе плачут и лепечут всякие слова:

— Родимая ты моя, жданочка...

— Кто она мне, чего я с ней поеду?..

И тут звук странный раздался, сбоку, с кухни. Обе обернулись: в дверях кухонных, поднявшись с раскладушки, стоит мамка Шура, сгорбилась и кухонной занавеской, обеими руками, закрыла себе уши, чтобы не слышать...

Вот чума так чума! А мамка Клавдя — ох, простая душа! — обернула от себя Надьку и толкнула в спину: подойди, мол, пожалей ее, ну! — и Надька подошла осторожно. И как схватила ее Шура, как сжала, зарыдала еще пуще, не в силах говорить...

Эта плачет, эта плачет, и Надька — куда деваться? — тоже плачет. Как они плачут втроем, эти женщины, обняв друг друга!..